

**СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ**



**ДЖЕРОМ
К. Джером**

Jerome K. Jerome





SHOUT
SHARE **IT**

Annotation

«Наброски для повести» (*Novel Notes*, 1893) — роман Джерома К. Джерома в переводе Л. А. Мурахиной-Аксеновой 1912 года, в современной орфографии.

«Однажды, роаясь в давно не открывавшемся ящике старого письменного стола, я наткнулся на толстую, насквозь пропитанную пылью тетрадь, с крупной надписью на изорванной коричневой обложке: «НАБРОСКИ ДЛЯ ПОВЕСТИ». С сильно помятых листов этой тетради на меня повеяло ароматом давно минувших дней. А когда я раскрыл исписанные страницы, то невольно перенесся в те летние дни, которые были удалены от меня не столько временем, сколько всем тем, что было мною пережито с тех пор; в те незабвенные летние вечера, когда мы, четверо друзей (которым — увы! — теперь уж никогда не придется так тесно сойтись), сидели вместе и совокупными силами составляли эти «наброски». Почерк был мой, но слова мне казались совсем чужими, так что, перечитывая их, я с недоумением спрашивал себя: неужели я мог тогда так думать? Неужели у меня могли быть такие надежды и такие замыслы? Неужели я хотел быть таким? Неужели жизнь в глазах молодых людей выглядит именно такую? Неужели все это могло интересовать нас? И я не знал, смеяться мне над этой тетрадью или плакать.»

- Джером Клапка Джером

- ☐ Пролог
- ☐ I
- ☐ II
- ☐ III
- ☐ IV
- ☐ V
- ☐ VI
- ☐ VII
- ☐ VIII
- ☐ IX
- ☐ X
- ☐ XI
- ☐ XII

Джером Клапка Джером

Наброски для повести

Пролог

Много лет тому назад, еще во дни моего младенчества, мы жили в большом доме на длинной, прямой, темно-бурой улице, в восточной части Лондона.

Днем эта улица была очень людная и шумная, а ночью — пустынная и тихая; редко расставленные по ней газовые фонари казались скорее маленькими маяками, нежели уличными светильниками; мерный топот полисмена, обходящего дозором свой участок, то медленно приближался, то так же медленно удалялся, исключая те мгновения, когда этот неутомимый страж общественной безопасности ненадолго приостанавливался, чтобы подергать дверь или окно, наводившие стража на сомнение, заперты ли они, или когда он светил своим ручным фонарем в один из темных переулков, которые вели к реке.

Окна задней стороны этого дома выходили на обширное старое кладбище, привлекавшее мое детское воображение своей таинственностью. Часто по ночам я потихоньку выползал из своей кровати, вскарабкивался на высокое дубовое кресло, стоявшее под окном, и подолгу, не отрываясь, смотрел на ряды серых обветрившихся и покосившихся памятников, казавшихся мне призраками.

После долгих размышлений на эту тему я пришел к окончательному выводу, что это действительно призраки, и в конце концов так освоился с ними, что не только перестал бояться их, но даже почувствовал дружескую симпатию.

В одну из таких ночей, когда я сидел в кресле и любовался своими «призраками», я вдруг почувствовал на своем плече руку. Прикосновение к моему плечу этой небольшой, мягкой и теплой руки меня нисколько не испугало: я знал, кому принадлежит она, и доверчиво прижался к ней щекой.

— Зачем мамин гадкий мальчик встает по ночам и смотрит в окно? — раздается возле моего уха нежный родной голос, причем другая рука обхватывает меня за шею и мое лицо щекочут мягкие, шелковистые, душистые кудри.

— Я смотрю вон туда, вниз, на призраков, — отвечает «мамин гадкий мальчик» и еще крепче прижимается к милым рукам. — Их там много, очень много... Милая мама, знаешь, мне очень хотелось бы посмотреть на них поближе, — добавляю я, не выходя из своей задумчивости.

Но мать молча берет меня на руки и укладывает опять в постель, потом усаживается около меня и начинает тихим, ласкающим голосом напевать одну из моих любимых детских

песенок.

И пока она поет, на мое лицо вдруг падает нечто такое, что заставляет меня приподняться и посмотреть ей в глаза. Уловив мой взгляд, мать уговаривает меня снова лечь и стараться скорее заснуть. Я повинуюсь, крепко зажмуриваю глаза и притворяюсь засыпающим. Мама, посидев с минуту около моей постели и уверившись, что ее «гадкий мальчик» заснул, осторожно поднимается и уходит, а я долго думаю о том, чем могла так огорчиться мама, что она заплакала.

Бедная, дорогая мама! Она была твердо уверена, что все дети — ангелы и что на них всегда существует усиленный спрос там, где им гораздо более подходящее место, чем на земле, поэтому так трудно удерживать их на ней, и ни на один день нельзя быть уверенным в том, что на следующий они не улетят туда. Наверное, моя детская болтовня о призраках заставила в ту ночь сильно страдать мою бедную маму.

Это я говорю потому, что после той ночи мне часто приходилось улавливать беспокойный взор матери, тоскливо устремленный на меня. Особенно зорко она наблюдала за мною во время моей кормежки, и по мере того, как эта операция благополучно подвигалась к концу, лицо матери все более прояснялось и ее взгляд становился менее тревожным.

Как-то раз, во время обеда, она шепнула на ухо отцу (дети вовсе не так туги на слух, в особенности, когда им не следует чего-нибудь слышать, как думают их родители):

— Кажется, он кушает с аппетитом?

— И даже очень, — так же тихо ответил отец. — По-моему, если он когда-нибудь заболит, то не от чего другого, а от перекорма, — с улыбкою добавил он.

Мать радостно улыбнулась. Потом, когда дни проходили за днями, а мой аппетит не уменьшался, и вообще я не проявлял никаких признаков к переселению туда, она успокоилась на мысли, что ангелы, по-видимому, решили обойтись там и без моей компании.

Таким образом я рос себе да рос и с течением времени перестал верить в призраков, как и во многое другое, хотя, сказать по правде, в кое-что не мешало бы верить и взрослым людям. Но память о старом кладбище с его «призраками» вдруг воскресла во мне и вызвала в моем уме такое ощущение, точно я сам призрак, неслышно скользящий теперь по мертвым, безлюдным улицам, по которым когда-то, полный жизни, я быстро носился среди густой и шумной толпы.

Случилось это по следующему поводу. Однажды, роаясь в давно не открывавшемся ящике старого письменного стола, я

наткнулся на толстую, насквозь пропитанную пылью тетрадь, с крупной надписью на изорванной коричневой обложке: «НАБРОСКИ ДЛЯ ПОВЕСТИ». С сильно помятых листов этой тетради на меня повеяло ароматом давно минувших дней. А когда я раскрыл исписанные страницы, то невольно перенесся в те летние дни, которые были удалены от меня не столько временем, сколько всем тем, что было мною пережито с тех пор; в те незабвенные летние вечера, когда мы, четверо друзей (которым — увы! — теперь уж никогда не придется так тесно сойтись), сидели вместе и совокупными силами составляли эти «наброски». Почерк был мой, но слова мне казались совсем чужими, так что, перечитывая их, я с недоумением спрашивал себя: неужели я мог тогда так думать? Неужели у меня могли быть такие надежды и такие замыслы? Неужели я хотел быть таким? Неужели жизнь в глазах молодых людей выглядит именно такою? Неужели все это могло интересовать нас? И я не знал, смеяться мне над этой тетрадью или плакать.

Это был не то дневник, не то заметки «для памяти». Материал, во всяком случае, оказался богатый — плоды многих размышлений и собрание многих фактов, — и я, выбрав наиболее интересное, отделив, сгладив, кое-что урезав, кое-что добавив и приведя все в порядок, соорудил из всего этого нижеследующие главы.

Что я имел право так поступить, в этом может быть порукою моя совесть, которая принадлежит к числу довольно щепетильных. Из четырех авторов этих «заметок» тот, которого я вывел в них под именем Мак-Шонесси, схоронил все свои притязания на них вместе с собою под шестифутовым слоем прожженной солнцем почвы африканской пустыни. У того, кто фигурирует под именем Брауна, я заимствовал очень немного, да и это немного с полным спокойствием могу назвать своим, благодаря тщательной обработке его сырого материала.

От «Джефсона» я имею письмо, отправленное с одной из станций, находящихся в глубине австралийского материка. Это письмо гласит следующее: «Делай со своей находкой, что хочешь, дорогой друг, только, пожалуйста, не привлекай меня к участию в твоих литературных замыслах и предприятиях. Спасибо тебе за выраженные тобою лестные для меня сожаления, разделять которых я, однако, не могу. Я совсем не был приспособлен к литературной деятельности, и слава богу, что вовремя успел понять это. Некоторым беднякам так и не удалось постигнуть это. (Не бойся, я говорю не о тебе; мы тут все охотно читаем твою стряпню, когда у нас нет другого дела, и она нас всегда забавляет.) Принятый мною образ жизни вполне подходит мне. Я

люблю сидеть на спине коня или верблюда и жариться на солнце. Конечно, в твоих глазах мой образ жизни должен казаться тебе крайне «некультурным». Но что же делать, если он соответствует моей натуре больше, чем писание книг? Кроме того, ведь и без меня слишком много бумагомарателей. Мир так занят писанием и чтением, что совсем не имеет времени на созерцание и размышление. Знаю, ты на это возразишь мне, что книги — прикрепленные к бумаге мысли, а я возражу на это, что такое мнение — простой самообман писателей. Приезжай-ка ко мне сюда, дружище, и побудь хоть одну ночку в обществе только глупой скотины, как часто делаю я, упершись взглядом в бездонное небо, и тогда, быть может, поймешь и ты, что книги — совсем не мысли, а лишь выдумки. То, о чем в действительности мыслит человек, всегда остается внутри него, в гробовом безмолвии, невысказанным, а то, о чем он пишет, — в сущности не что иное, как простой суррогат мыслей, которые он желает внушить публике, обманывая и публику и самого себя...»

Бедный Джефсон! Одно время он так много обещал, хотя, впрочем, всегда отличался некоторыми странностями.

Д. К. Д.

Когда однажды вечером, вернувшись домой от моего друга Джефсона, я сообщил своей жене, что намерен написать повесть, та выразила полное сочувствие моему намерению, заметив, что она не раз удивлялась, почему это раньше не приходило мне на ум.

— Нынче все пишут такие повести, которые никуда не годятся; даже противно читать их. Что же касается тебя, то я уверена, что ты напишешь такую вещичку, которая понравится всем и прославит тебя на весь мир, — с живостью добавила она.

Милая Этельберта! Она всегда была чересчур высокого мнения о своем муже. Но это наших отношений никогда, однако, не портило.

Когда же я, далее, оповестил ее о том, что моим сотрудником будет мой друг Джефсон, она тоном сомнения произнесла «о!», а когда я прибавил, что, кроме того, со мною намерены сотрудничать и Селькирк Браун и Мак-Шонесси, она снова произнесла свое «о», но уже в тоне, не допускавшем с моей стороны и тени сомнения в том, что проявленный было ею интерес к моему намерению совершенно улетучился.

Я старался доказать ей, какие особенные преимущества связаны с нашим планом.

— Видишь ли, дорогая Этель, — говорил я, — повесть одного человека дает нам только его собственные мысли, нашу же повесть будут составлять собирательные, так сказать, силы четырех умных и просвещенных людей. Таким образом, публика за обыкновенную цену, то есть за цену, которую она платит за труд одного писателя, получит труд целых четырех и ознакомится с их мыслями, мнениями, убеждениями и мировоззрениями.

— Кроме того, имей в виду, Этель, что мы вовсе не намерены всовывать в свою повесть какие-нибудь будничные, обыкновенные мыслишки, — мы хотим наполнить ее всеми теми знаниями и умными мыслями, которыми обладаем все четверо порознь, лишь бы только книга выдержала столько премудрости. После этой повести мы больше ничего уж не станем писать, потому что будем не способны на это; да нам и не о чем будет писать. Этот наш совокупный труд должен представлять собой нечто вроде окончательной распродажи всего нашего умственного имущества. Мы вложим в эту книгу все, решительно все, чем богаты наши четыре головы.

В ответ на мою восторженную тираду Этельберта плотно сжала свои розовые губки и что-то пробормотала про себя, а

вслух заметила, что, наверное, все это будет делом одного, а вовсе не четверых.

Эта невысказанная насмешка задела меня за живое, и я с жаром возразил, что нехорошо думать о других только одно дурное и что каждый человек имеет право ожидать у своего домашнего очага полного сочувствия от близкого человека.

Этельберта ответила, что она вполне сочувствует мне и даже Джефсону, которого все-таки начинает считать довольно порядочным и рассудительным человеком.

Насчет бедняги Мак-Шонесси Этельберта выразилась еще беспощаднее. Она сказала, что если бы нам и удалось извлечь из него все его знания, то этого материала едва ли хватило бы на самую маленькую страничку, — так стоило ли ради этого возиться с ним?

Такая суровая оценка Мак-Шонесси моей женою явилась впоследствии, а с первого знакомства с ним она была от него в восторге.

— Ах, какой умный человек этот твой приятель! — восклицала она после этого знакомства. — Он, кажется, знает все на свете.

Определение это было очень точное. Мой приятель действительно казался всезнайкой. На первых порах он представлялся до такой степени начиненным всякого рода знаниями, что становилось прямо страшно за него: ну-ка он сломается под таким непосильным для одного человека бременем? В самом деле, я сроду не видывал такого скопления всевозможных сведений, как у него. Но, к сожалению, все эти сведения на практике никуда не годились. Бог его знает, откуда он нахватался всего этого и почему, давая советы другим, он никогда не применял своих знаний к делу лично.

Этельберта была очень еще юна и очень наивна, когда только что сделалась миссис Джером. Она так гордилась своим замужеством, что мясник, у которого она вскоре после нашей свадьбы стала было забирать провизию, лишился ее как покупательницы только потому, что до ошибки назвал ее «мисс» и просил передать поклон ее матери. Бедняжка вернулась домой сильно обиженная и сквозь слезы говорила, что она, быть может, еще и не похожа на замужнюю и даже кажется негодной быть чьей-либо женою, но нельзя же выносить, чтобы какой-то торговец позволял себе высказывать это ей прямо в глаза!

Разумеется, она была совершенно еще неопытна в хозяйстве и, сознавая это, всегда относилась с сердечною признательностью к тем, которые могли дать ей полезные советы и указания. Поэтому Мак-Шонесси, дававший пока только теоретические

советы, и показался ей кладезем всякой хозяйственной премудрости.

Мак-Шонесси, между прочим, научил ее новому «научному» способу раскладки дров в плите. Мой приятель утверждал, что дрова обыкновенно кладутся совершенно неправильно, наперекор всем законам природы, и объяснил, как нужно класть их правильно. Он красноречиво доказывал, сколько при его способе сберегается труда и времени, не говоря уж о том, какое большое количество получается угля. Посредством спичек он даже показал, как именно нужно делать эту раскладку, и Этельберта тотчас же по его уходе бросилась в кухню, чтобы поделиться новым знанием с нашей служанкой.

Та совершенно спокойно выслушала указания насчет «научной» раскладки дров в плите и, когда жена окончила свои подробные объяснения, просто спросила:

— Стало быть, теперь класть дрова по-новому?

— Да, Аменда, с завтрашнего дня вы будете класть дрова так, как я вам объяснила, — ответила жена. — Пожалуйста, не забудьте.

— Хорошо, миссис, не забуду, — с полным равнодушием проговорила служанка.

Войдя на следующее утро в столовую, мы нашли стол, как всегда, аккуратно накрытым для завтрака, но самого завтрака на нем не было. Мы стали ждать. Прождали минут двадцать, однако так и не дождались. Этельберта нетерпеливо позвонила. Тотчас же явилась наша Аменда и с невозмутимым видом почтительно остановилась на пороге.

— Разве вы забыли, Аменда, что мы привыкли завтракать в половине девятого? — спросила жена.

— Нет, не забыла, миссис, — спокойно ответила служанка.

— А знаете, что теперь почти уж девять?

— Знаю, миссис.

— А завтрак все-таки еще не готов?

— Да, миссис.

— Когда же, наконец, он будет готов?

— Не знаю, миссис... Впрочем, думаю, что он никогда не будет готов, — самым чистосердечным тоном произнесла Аменда.

— Но почему же? — приставала жена. — Может быть, вы не так разложили дрова, как я вчера учила вас, и они не разгораются?

— Нет, дрова сначала хорошо разгораются. Но как только отвернешься, они опять гаснут.

— А вы пробовали поджигать дрова, когда они гасли? — продолжала моя жена.

— Конечно, миссис, даже несколько раз.

— Ну, и что же?

— Каждый раз они сначала разгораются, а потом опять гаснут, — невозмутимо проговорила девушка. — Впрочем, если вам угодно, миссис, я еще раз попробую разжечь их, — с полной готовностью добавила она.

Тогда жена сказала, что разожжет дрова сама и кстати еще покажет ей, Аменде, как следует делать это. Обе женщины направились в кухню. Сильно заинтересованный, последовал за ними и я.

Этельберта подобрала платье, засучила рукава, опустилась на колени перед плитой и принялась за дело, а я и Аменда стояли около и наблюдали.

Побившись с полчаса над капризными дровами, жена, наконец, поднялась, вся красная, потная, с перепачканными руками и, видимо, сильно раздраженная. А плита по-прежнему насмешливо зияла своим черным и холодным отверстием, из которого с насмешкою выглядывали не желавшие разгораться поленья.

Тогда взялся разжечь их и я. Мне во что бы то ни стало хотелось добиться успеха. Во-первых, я сильно проголодался, во-вторых, хотелось похвастаться, что дрова разжег именно я. Мне казалось, что разжечь дрова в том порядке, в каком они лежали, будет немаловажным подвигом, которым можно гордиться. В случае успеха, в котором я не сомневался, можно будет похвастаться перед всеми нашими знакомыми.

Но успеха не добился и я. Я пытался разжигать дрова всевозможными материалами, пережег все, что попадало под руку, но все мои усилия оказались тщетными: дрова упорно не желали разгораться. Жена сначала не вмешивалась, но потом стала деятельно помогать, подсовывая мне всякие удобосгораемые и совсем несгораемые предметы.

Наконец, страшно измученные, мы уселись с нею на кухонных табуретках, услужливо подставленных нам Амендой и, тяжело дыша, вытаращили друг на друг глаза. Отдыхая, мы старались придумать выход из этого неприятного положения, и если бы не Аменда, мы, по всей вероятности, так ничего и не придумали бы. В крайних критических случаях она иногда решалась давать советы, несколько, впрочем, не обижаясь, если ее советы не будут приняты.

Так и в данном случае. Видя нашу полную беспомощность, она равнодушно сказала:

— Не затопить ли плиту по-старому?

Произнеся эти слова, она поспешно закрыла рот, чтобы

нечаянно не выпустить лишнего слова.

— Да, да, милая Аменда, затопите ее по-старому, — обрадованно подхватила жена. — И пожалуй, мы так и будем продолжать топить по-прежнему, — с некоторой запинкой добавила она, поднимаясь с табуретки.

Таким образом, благодаря «научному» способу раскладки дров Мак-Шонесси наш завтрак в этот день запоздал ровно на два часа.

В следующий раз Мак-Шонесси ознакомил нас, как надо готовить особенно вкусный кофе по настоящему арабскому способу. Мой всезнающий приятель торжественно направился в кухню, и мы с интересом последовали за ним. Мак-Шонесси снял манжеты, засучил рукава рубашки и принялся за дело. Прежде всего он разбил два соусника, три чашки и любимый кувшинчик жены, изуродовал до негодности терку для мускатных орешков, прожег в нескольких местах большую новую скатерть, залил всю плиту и сам весь перепачкался кофейной гущей. В результате всех этих трудов получилось три чашки какой-то невозможной бурды, так что мы с женой поневоле пожалели бедных арабов, если им действительно приходится так трудиться, чтобы приготовить такой несложный напиток.

Этот «арабский» кофе нам очень не понравился, и мы не могли проглотить его более одного глотка. Мак-Шонесси объяснил это отсутствием у нас настоящего вкуса, благодаря привычке готовить этот благородный азиатский напиток плохим европейским способом. В подтверждение своих слов мой приятель храбро выпил, кроме своей, обе наши чашки, но тут же схватился за желудок и поспешил отправиться домой.

Третий случай был еще интереснее. Нужно сказать, что в те дни у Мак-Шонесси была жива тетка, очень таинственная дама, жившая где-то в полном затворничестве, откуда она и расточала свои «благодаяния» через племянника всякому, кто нуждался в ее помощи. Эта дама, по словам моего приятеля, знала еще больше его самого; вообще была чем-то вроде восьмого чуда света.

Однажды тетя прислала нам с своим племянником описание снадобья для уничтожения тараканов. Дело в том, что мы в то время обитали в очень живописном с виду, но очень неудобном для жилья, дряхлом доме. Наша кухня по вечерам превращалась в клуб для тараканов. Эти милые насекомые проникали туда сквозь стены и из-под пола и возились там в свое удовольствие вплоть до рассвета.

Против мышей и крыс Аменда ничего не имела. Она говорила, что даже любит наблюдать, как эти потешные зверьки проделывают свои интересные штуки. Но к тараканам она

относилась иначе, поэтому очень обрадовалась, когда жена сообщила, что получила прекрасный рецепт для составления смертоносного снадобья против них.

Мы достали все указанные в рецепте вещества, составили из них смесь и вымазали этой смесью, как было сказано в наставлении, стены, пол, плиту и все прочее в кухне.

Тараканы в свое время явились. Очевидно, наше угощение им очень понравилось, они истребили его все без остатка и... остались целехоньки.

Мы сообщили об этом факте Мак-Шонесси. На добродушном лице моего приятеля промелькнула зловещая улыбка, и он многозначительно проговорил:

— Вот и отлично! Пусть их угощаются.

Он объяснил нам, что этот яд действует медленно и не сразу убивает таракана, а лишь понемногу подтачивает его организм. День за днем таракан будет чувствовать себя хуже и хуже, а потом и окончит свое существование.

Обнадеженные этим объяснением, мы состряпали новую, но уже значительно увеличенную, порцию яда и распределили ее прежним способом. Тараканы стали стекаться к нам со всего околотка. В конце недели наша кухня вмещала в своих ветхих стенах всех тараканов, обитавших на десять миль вокруг нас.

Мак-Шонесси уверял нас, что все идет как нельзя лучше. Он говорил, что этим путем мы очистим от тараканов весь округ.

На восьмой день вечером мы вместе с моим приятелем спустились в кухню, чтобы взглянуть, как там себя чувствуют наши гости. Мак-Шонесси нашел, что они выглядят очень плохо и что, того и гляди, все перемерут. Нам же с женою казалось, что трудно представить себе более здоровых на вид тараканов.

Некоторые из них достигали прямо чудовищных размеров. Наконец нам удалось значительно поубавить число наших «гостей» простым средством, добытым в москательной лавочке. Но совсем истребить их не было никакой возможности, — слишком уж много проникло к нам этих маленьких лакомок, привлеченных вкусным «ядом» тетки моего приятеля.

Когда целый ряд всяких злоключений, причиненных нам «всезнайством» Мак-Шонесси и его тетки, наглядно доказал нам всю опасность советов моего приятеля, мне пришло в голову, нельзя ли будет отучить его от страсти давать «практические» советы. С этой целью я рассказал ему одну грустную историю, услышанную мною от одного человека.

Я встретил этого человека в вагоне одной из американских железных дорог. Я ехал из Буффало в Нью-Йорк. Во время этого длинного переезда мне вдруг пришло в голову, что я сделаю свое

путешествие гораздо интереснее и разнообразнее, если покину в Олбени поезд и совершу остальную часть пути по воде. Но я не знал, когда идут из Олбени пароходы, а путеводителя, по которому мог бы справиться, при себе не имел. Я оглядел своих путников, ища, у кого бы спросить. У окна сидел пожилой джентльмен с приятным, умным и приветливым лицом. Незнакомец внимательно читал какую-то книгу.

Я подошел к нему и, сядя против него на свободное место, сказал:

— Простите, сэр, что прерываю ваше чтение. Не можете ли вы сообщить мне, какие пароходы циркулируют между Олбени и Нью-Йорком?

— С удовольствием, сэр, — ответил он с любезной улыбкой. — Там три пароходные линии.

— Благодарю вас, сэр, — вежливо проговорил я и даже дотронулся рукою до своей шляпы. — Кстати, не посоветуете ли вы мне, с какою из этих трех линий удобнее будет...

Но он, вместо ответа, к величайшему моему изумлению, вдруг сорвался с места и окинул меня сверху вниз пристальным, гневно сверкающим взглядом.

— Ах вы, молодой негодяй! — прохрипел он сдавленным от ярости голосом. — Так вот что вам было нужно от меня! Ну, я вам сейчас дам такой совет, после которого вы никогда уж больше не будете просить советов!

С этими словами он быстро выхватил из кармана револьвер и поднес его к самому моему носу.

Помимо крайнего изумления, я, признаться, несколько струсил, а потому счел за благо ретироваться в противоположный угол вагона, около выходной двери на площадку. Там сидела какая-то невероятно полная особа женского пола и сладко спала, посапывая на весь вагон. Плюхнувшись возле этой особы, я стал выжидать, что будет дальше. Кстати сказать, никто из остальных пассажиров и не подумал выступить ко мне на помощь; все только с любопытством молча наблюдали эту сцену. (Таковы уж американские нравы!)

Между тем мой неожиданный противник подвигался ко мне, и хотя у него в руках уже не было револьвера, но я все-таки поднялся и схватился за дверную ручку, чтобы успеть вовремя выскочить из вагона.

— Погодите, сэр! — произнес незнакомец прежним спокойным тоном, подойдя ко мне. — Простите, я, кажется, ошибся в вас и немного погорячился... Мне очень хотелось бы объяснить вам, в чем дело. Когда вы услышите мою историю, то, надеюсь, извините мою горячность.

— Тридцать лет тому назад, — начал он, — я был так же молод, как вы, но при этом крайне самонадеян и воодушевлен страстным желанием делать хорошее для других. Я не мнил себя гением, но мне казалось, что я одарен необыкновенным, в сравнении с большинством, здравым практическим смыслом. Проникнувшись таким убеждением, я написал небольшую книгу под заглавием «Как быть разумным, богатым и счастливым».

Книжонка моя не имела того успеха, на который я рассчитывал. Не скрою, что сначала я был очень разочарован, но потом рассудил, что если публика не желает пользоваться моими добрыми советами, то в убытке она сама, а не я, и, успокоившись на этой мысли, перестал думать о своей неудаче.

После этого прошло около года. В одно прекрасное утро служанка доложила, что меня желает видеть какой-то молодой человек по важному делу. Я велел пригласить его в кабинет. Через минуту ко мне вошел незнакомец, просто, но чисто одетый, со смышленным, открытым лицом и скромными манерами. Я предложил ему сесть.

— Простите, пожалуйста, меня, сэр, за мое вторжение к вам, — несмело начал он, скромно усевшись на краю кресла и вертя в руках свою широкополую шляпу. — Я нарочно приехал за двести миль, чтобы повидать вас.

Я поспешил сказать, что очень рад познакомиться с ним, и он немного смелее продолжал:

— Ведь это вы, сэр, написали ту прекрасную маленькую книжку, которая учит, как быть разумным, богатым и счастливым?

Я подтвердил этот факт.

— Ах, какая это прекрасная книга, сэр! — с искренним восторгом вскричал он. — Я не из тех, у которых много собственного ума, — продолжал он, — зато умею отличать тех, у которых он есть, и когда я прочел вашу книжку, то сказал себе: «Вот что, Джо Хеккет — это мое имя, сэр, — оставь ты в покое свою собственную башку, — она ничему хорошему тебя не научит, — и ступай-ка лучше к тому джентльмену, который написал эту умную книгу, и попроси у него совета. Ведь он лучше других знает, как кому поступать, поэтому и тебе посоветует именно то, что будет для тебя полезно». Вот что я сказал себе сэр, и вот почему явился к вам. Помогите мне, ради бога, добрым советом.

Проговорив эту, очевидно, очень длинную для него речь, он замолчал и тяжело отдуваясь, принялся вытирать вспотевшее от натуги лицо пестрым бумажным платком. Дав ему отдохнуть, я попросил его объяснить, в чем дело. Оказалось, что он

намеревался обзавестись женой, но не может решить вопроса, на ком именно ему следует жениться. Он имел в виду двух девушек, которые обе, как он имел случай убедиться, относились к нему довольно благосклонно. Вот он и затруднялся в выборе между этими двумя девицами. Они обе нравились ему, но он никак не мог определить, которая из них была бы более подходящей для него женой. Одну из невест, Джульену, единственную дочь морского капитана в отставке, он описывал веселой и разбитной девушкой, а другую, Хенну, которая была немного постарше, более степенной и серьезной, она была старшей дочерью в многочисленном семействе. Отец ее был человек богобоязненный и вел довольно прибыльную торговлю лесом.

— Вот я и решился обратиться к вам, сэр, за советом, на которой из них мне следует жениться, — заключил мой посетитель.

Я был очень польщен таким доверием. Да и кто другой на моем месте не был бы польщен этим? Молодой, доверчивый человек явился за двести миль, чтобы просить моего совета, и был готов устроить свою жизнь по моему указанию. Значит, он вполне полагался на мою житейскую опытность. С моей точки зрения, я поступил бы слишком жестоко, если бы отказал ему в совете. И я решил дать ему самый добросовестный совет.

Джо Хеккет вручил мне фотографические карточки обеих невест, чтобы я мог судить о них по их наружности. Я записал на обратной стороне каждой карточки те сведения о той и другой невесте, которые могли помочь мне разобраться в большей пригодности одной из них занять положение жены, хозяйки и матери в доме обстоятельного человека, каким мне казался Джо Хеккет. Потом дал ему обещание тщательно обдумать это дело и через несколько дней прислать письменный ответ.

Признательность этого доброго малого была очень трогательна.

— Не беспокойтесь писать мне большое письмо, — между прочим, сказал он: — Напишите на клочке бумажки только, одно словечко: «Джульена» или «Хенна» и суньте в конверт. Я уж пойму, что это будет означать, и женюсь на той, чье имя вы напишите.

При прощанье он крепко, до боли, пожал мне руку и, полный надежды на меня, сердечно расстался со мною.

Выбор жены этому хорошему малому доставил мне порядочную головоломку, потому что я от всей души желал сделать его счастливым.

Джульена, бесспорно, была очень недурна собой. В уголках ее красивого ротика замечалась веселость, вот-вот готовая

разразиться звонким смехом. Если бы я действовал наобум, то непременно женил бы своего нового знакомого именно на ней.

Но я рассудил, что от жены требуется кое-что другое, более существенное, нежели миловидность и веселость. Хенна была хотя и не такая красивая, зато, видимо, обладала и умом и твердым характером, то есть именно такими качествами, которые прежде всего необходимы для жены небогатого человека. По словам жениха, отец Хенны был человек дельный, положительный и, наверное, не без средств, раз он «очень прибыльно» торгует лесом. Глядя на отца, и дети должны были научиться вести деловую жизнь.

Что же касается Джульены, то ее отец был отставной морской капитан, а моряки, как известно, народ довольно распушенный. По всей вероятности, этот бывший морской волк только и делает, что по целым дням расхаживает по дому и раздражается такими «морскими» выражениями и рассуждениями, которые не могут оказать благотворного влияния на ум молодой девушки. Кроме того, Джульена была его единственной дочерью, а обыкновенно почти все единственные сыновья и дочери редко выходят порядочными людьми. Они всегда сильно набалованы и привыкли своевольничать. Поэтому можно смело сказать, что Джульена должна быть уже испорчена до мозга костей.

В конце второго дня я решил свою задачу. Написав на клочке бумаги слово «Хенна», я отправил это слово по оставленному мне женихом адресу.

Недели через две я получил от жениха письмо. Он благодарил меня за совет, но намекнул, что ему было бы приятнее, если бы я написал «Джульена», а не «Хенна». Тем не менее он выражал уверенность в том, что я лучше должен знать, кто ему больше подходит, и что, когда я получу его письмо, он уже будет мужем Хенны.

Это письмо сильно обеспокоило меня. Я стал сомневаться, верен ли мой выбор жены для доверившегося мне человека. Вдруг окажется, что Хенна вовсе не такая, какой она должна бы быть по моим логическим соображениям. Ведь это будет непоправимым несчастьем для бедного малого, если мои соображения не оправдаются! В самом деле, какое было у меня твердое основание для безошибочного суждения о характере Хенны? Почему я знаю, не представляет ли она собой самую обыкновенную, сварливую, злую и, как при этом водится, глупую женщину? Разве не может быть, что она являлась сущим наказанием для своей бедной, обремененной заботами и трудами матери и палачом для своих меньших сестер и братьев? И откуда у меня явилась уверенность, что она хорошо воспитана? Быть может, ее отец — самый

обыденный плут, какими в большинстве бывают так называемые «хорошие» люди. Чему могла научиться дочь от такого отца?

Потом, как я могу знать, не превратится ли с годами ребяческая шаловливость Джульены в ясную, спокойную, приветливую женственность? Отец же ее, наперекор всем моим предвзятым мнениям о моряках, быть может, самый образцовый человек в мире. Да и у него, наверное, найдется кругленькое сбереженьице, какое нередко бывает у отставных моряков, в особенности, когда они не многосемейные. А дочь — его единственная наследница. Прав ли я был, не посоветовав Джо Хеккету выбрать в жены именно ее?

Я вынул из ящика письменного стола ее фотографическую карточку и принялся снова рассматривать ее. Мне показалось, что в больших глазах этого немного снимка выражается тихий упрек по моему адресу. Я умственно видел перед собою сцену в маленьком домике капитана, когда туда Дошла весть о женитьбе Джо Хеккета на Хенне. Это было нечто вроде камня, брошенного в спокойный до того времени поток жизни молодой Девушки. Раскаяние грызло меня как лютый зверь.

Я убрал карточку Джульены и взял изображение Хенны. Это изображение словно смотрело на меня с выражением насмешливого торжества, так что мною невольно овладело глубокое отвращение к этой особе.

Несколько недель подряд я не знал покоя. Получаемые мною письма я долго не решался вскрывать, опасаясь, что каждое из них может оказаться от несчастного, погубленного мною человека. При каждом стуке в дверь я с трепетом вскакивал с места, ожидая появления Джо Хеккета со справедливыми упреками и жалобами. Каждый раз, когда мне попадалась в газетах рубрика под заголовком «Домашние драмы», я весь покрывался холодным потом: мне казалось, что вот-вот прочту известие о том, что Джо и Хенна зарезали друг друга и умерли, проклиная меня как виновника своего несчастья.

Однако с течением времени, когда ничего такого не случилось, я понемногу стал успокаиваться и ко мне снова вернулась моя уверенность в верности моих суждений. Значит, мой выбор был верен: Джо и Хенна живут вполне счастливо и благословляют вместе с судьбой и меня.

Так прошло три года, и я совсем уж стал забывать об этой чете. Но вдруг Джо Хеккет снова появился передо мною. Вернувшись однажды вечером домой, я застал его у себя в приемной. При первом же взгляде на него я понял, что все мои дурные опасения на его счет сбылись.

Я поздоровался с ним и попросил его в свой кабинет. Он

уселся в то же самое кресло, в котором сидел три года тому назад. Он сильно постарел и заметно опустился. Весь его вид выражал полную и покорную безнадежность.

Несколько времени мы просидели молча. Он, как и в первый раз, беспокойно вертел в руках шляпу. Я делал вид, что привожу в порядок бумаги на письменном столе. Наконец, чтобы прервать это тягостное молчание, я начал:

— Ну, как вы поживаете, Джо? Должно быть, вам не совсем повезло в вашей семейной жизни?

— Да, сэр, вы угадали, совсем не повезло, — тихо ответил он. — Хенна оказалась настоящим жалом в моем боку.

В его голосе не было и тени упрека. Он просто, как говорится, констатировал предо мною грустный факт.

— Но, быть может, она, если не по характеру, то по своей деятельности хорошая жена и хозяйка? — заметил я. — У нее, вероятно, довольно сильный характер.

Я всячески старался найти хоть что-нибудь хорошее в навязанной ему мною жене, но, кроме «сильного характера», ничего не мог придумать.

— О, да, сэр, в этом отношении вы тоже совершенно правы, — подтвердил Джо Хеккет — По-моему, у нее при нашем скромном положении уж чересчур сильный характер... Видите ли, сэр, — продолжал он, вертя в руках свою шляпу, — Хенна довольно резка, а ее мать и совсем тяжела...

— Что же вам за дело до ее матери? — возразил я. — Ведь она не живет с вами...

— В том-то и штука, что живет с тех пор, как старик ушел...

— На тот свет? — подхватил я. — Значит, ваш тесть умер?

— Не совсем, сэр, а вроде этого. Он с год тому назад сбежал.

— А что же случилось с его делом? Я говорю о торговле лесом.

— Эта торговля была продана для покрытия оставленных им долгов. Он везде набрал денег на свою поездку к мормонам. Там ведь не любят людей без средств.

Я выразил свое полное сочувствие горю, постигшему его дом, и высказал предположение, что сестры и братья его жены, наверное, тоже вслед за отцом покинули дом.

— Нет, сэр, они все живут у нас, — с прежним спокойствием ответил посетитель.

Это еще больше поразило меня. Значит, я, кроме неподходящей жены, навязал ему еще целую ораву ее сродников!

— Да вы не тревожьтесь, сэр, — продолжал он, заметив мое смущение, — ведь все это вас нисколько не касается. У вас, наверное, довольно и своих забот. Я вторично явился к вам вовсе не с тем, чтобы навязываться еще и с моими. Этим я плохо

отплатил бы вам за вашу доброту ко мне.

Но, очевидно, все это сильно тяготило его. Он замолчал и поник головой. Чтобы переменить тему разговора, я спросил его:

— А скажите, что случилось с вашей второй невестой, Джульеной?

По грустному лицу моего посетителя пробежал светлый луч, и молодой человек заговорил более оживленным тоном:

— О сэр, одна мысль об этой славной женщине доставляет мне большое утешение! — воскликнул он. — Она вышла замуж за одного из моих приятелей, Сама Джессона... Я иногда хожу к ним... потихоньку от жены. И как только вхожу в их маленький домик, мне кажется, что я попадаю прямо в рай... Сам уж не раз стыдил меня за то, что я отказался от Джульены. Называет меня безмозглым бараном, ослом и еще хуже... Но я на него не обижаюсь, сэр, потому что мы с ним близкие друзья с самого детства, да притом я хорошо сознаю, что он вполне прав.

Лицо этого несчастного по моей милости человека снова омрачилось и он со вздохом прибавил:

— Эх, сэр, если бы вы только знали, как я часто горюю о том, что вам нельзя было выбрать мне в жены Джульену!.. Нет, нет, сэр, не беспокойтесь, я не жалуясь, но...

Он опять умолк и еще ниже склонил голову. Я понял, что лучше уж говорить о Хенне, чем о Джульене, поэтому поспешил спросить:

— Вы со своей семьей живете все на старом месте или куда-нибудь переселились?

— На старом, сэр... Но разве можно назвать это жизнью? Бьемся, как рыба об лед, а не живем... С таким большим семейством, как мое, нелегко прокормиться, сэр.

И он сообщил, что если бы не поддержка отца Джульены, то ему ни за что не справиться бы со своими нуждами. Он говорил, что старик был для него настоящим благодетелем.

— Нельзя сказать, чтобы он был из мозговитых людей, к которым ходят за советами, как, например, к вам, сэр, — говорил Хеккет, — но сердце у него золотое, что тоже много значит... Кстати, это напомнило мне, сэр, зачем я еще раз явился беспокоить вас... Я понимаю, это нехорошо с моей стороны еще раз обращаться за советом к...

— Джо, — поспешил я предупредить то, что, по моему мнению, хотел он сказать, — я сознаю, что главная вина в постигшей вас судьбе падает на меня. Но вы просили моего совета, и я дал вам его, так что, в сущности, трудно разобраться, кто из нас сделал большую глупость. Моя вина в том, что я взялся за дело, в которое, как я понял теперь, мне не следовало бы

вмешиваться. И вы не думайте, что я не чувствую своей ответственности перед вами. Поэтому я готов, насколько в состоянии, удовлетворить вас.

Он весь рассыпался в благодарностях.

— Я так и знал, что вы не откажете мне, сэр, — говорил он чуть не со слезами на глазах. — Я и Хенне сказал: «Пойду-ка опять к тому умному джентльмену и попрошу у него совета...»

— Совета?! — в недоумении воскликнул я, не веря своим ушам. Нового совета после того, как первый оказался таким неудачным!

— Да, вашего совета, сэр, — продолжал Джо Хеккет, видимо удивленный моим восклицанием. — Я хочу посоветоваться с вами насчет одного дельца.

Я было подумал, что он просто насмехается надо мною, чтобы хоть этим отомстить мне за первый совет, но тут же убедился, что этот добряк говорит вполне искренно и серьезно. Он действительно явился ко мне за новым советом. На этот раз дело было денежное. Капитан дал ему взаймы тысячу долларов с тем, чтобы он мог завести себе какое-нибудь дело и поправиться. Вот он и пришел опять ко мне посоветоваться, что ему лучше открыть на полученные от капитана деньги: прачечную или трактир. Очевидно, его нисколько не обескуражил мой первый, неудачный совет, и он пришел просить второго. На мои возражения он стал приводить довольно резонные основания в пользу того, чтобы я не отказывал ему. Выбор жены, рассуждал он, было дело совсем особенное, и, быть может, он сам виноват, что полез за советом по этому делу, хотя бы и к самому умному человеку на свете. Но посоветовать выбор того или другого предприятия человек, так хорошо знающий жизнь, как, например, я, может без всякого риска. Он снова перечитал мою книжонку и пришел к заключению, что только автор такой умной книги и может дать добрый совет насчет прачечной или трактира. Вот почему он и решился еще раз побеспокоить меня просьбой дать ему совет, как поступить ему в этом случае.

Я обещал серьезно заняться этим вопросом и в самом непродолжительном времени сообщить ему о своем решении. Он поднялся с кресла, крепко пожал мне руку, и мы расстались самыми лучшими друзьями в мире.

Я решил как можно основательнее заняться вопросом относительно наиболее выгодного применения тысячи долларов, составлявших единственное достояние этого доверчивого человека, да и то взятых им в долг. Я не желал повторения своей ошибки, которая привела к тому, что доверившийся мне человек получил в жены такую, с позволения сказать, ведьму. С этой

целью я нарочно съездил в тот город, где Джо Хеккет предполагал открыть прачечную или трактир, и подробно ознакомился с этим городом путем личного осмотра и опросов местных жителей.

Целых две недели я прожил в этом городке. Большую часть времени я проводил в намеченном мной, так сказать, клиентом трактире, чтобы лично видеть, как идет в нем торговля, и нарочно пачкал свое белье, чтобы иметь повод почаще ходить в ту прачечную, которую мой клиент также наметил для себя. По истечении этих двух недель я убедился, что оба предприятия одинаково прибыльны. Оставалось только решить, какое из них более подойдет Джо Хеккету и его многочисленной семье.

Я принялся соображать. Содержатель трактира слишком подвержен искушению. Слабохарактерный человек, вроде моего клиента, постоянно окруженный пьяницами, в конце концов может и сам запить, тем более что у него неприятная жена и целая орава ее милых сродников. Вечно расстроенный домашними дразгами и угнетаемый заботами, он поневоле станет искать забвения в вине, которое будет всегда у него под рукою, и, конечно, вскоре совсем сопьется, а его домашние будут лодырничать.

Что касается прачечной, то она сразу требовала много рук, постоянно занятых делом. Сестры Хенны да ее братья окажутся здесь очень полезными, не говоря уже о том, что они сами будут зарабатывать себе на хлеб. Вообще, приобретение прачечной, казалось мне, обеспечит моему клиенту домашний мир, спокойствие и, пожалуй, даже счастье. Ввиду всех этих соображений я выбрал для него прачечную, о чем и уведомил его письмом, когда вернулся домой.

Через неделю он известил меня, что, следуя моему совету, приобрел прачечную. Это было в понедельник, а во вторник на той же неделе я имел неудовольствие прочесть в местном коммерческом листке, что «в последнее время вдруг стал замечаться сильный подъем цен на гостиницы и трактиры», а в четверг мне пришлось увидеть в списке банкротств четырех содержателей прачечных, и в примечании редакции я прочитал, что местные прачечные гибнут из-за полной невозможности конкурировать с китайцами, появившимися целыми массами и работающими за самую низкую плату. Значит, и этот мой совет оказался пагубным для злополучного Джо Хеккета!

Жизнь сделалась настоящим проклятием для меня. Я нигде не находил места и ни о чем не мог думать, кроме как о тех пагубных советах, которые меня дернуло дать этому крайне доверчивому человеку. Мне день и ночь мерещилось, что я был не только причиной его семейного несчастья, но и лишил его

возможности поправить расстроены дела. Я стал видеть в себе злого духа, использовавшего все свои силы на то, чтобы погубить ни в чем не повинного человека, искренно желавшего семейного счастья и честного труда.

Между тем всепоглощающее время шло. Я больше ничего не слышал о Джо Хеккете и стал было забывать о нем. Вместе с этим забвением с моей души стало спадать и тяжелое бремя угрызений совести. Но по прошествии пяти лет я снова встретился с ним.

Эта встреча произошла в один памятный для меня вечер. Джо Хеккет подошел ко мне сзади в то время, когда я, вернувшись от знакомых, у которых очень приятно провел вечер, отпирал свою входную дверь. Он положил мне на плечо руку. Я подумал, что это грабитель, и с испугом обернулся. Была темная осенняя ночь, но я разглядел его лицо при свете газового фонаря, стоявшего близ моего жилища. Я сразу узнал его, несмотря на то, что все его лицо было в кровоподтеках, глаза, окруженные большими мешками, провалились и смотрели тускло, волосы сильно поседели, вообще он весь превратился в тень того, кем был восемь лет тому назад, когда мы, на наше общее несчастье, познакомились друг с другом.

Во мне вдруг воскресли и жалость и какая-то ненависть к нему. Я с силой схватил его за локоть и втолкнул на лестницу. Когда мы вошли в мой кабинет, я со злостью крикнул ему:

— Садитесь и выкладывайте все, что у вас накопилось за это время на сердце!

Он принялся отыскивать глазами знакомое ему кресло. Я понял, что если в третий раз увижу его в этом кресле, то не удержусь сделать что-нибудь скверное и с ним самим и с креслом. Я выхватил из-под него кресло как раз в тот момент, когда он собирался сесть в него, так что он грохнулся прямо на пол и горько зарыдал. Я оставил его сидеть на полу, и он сквозь рыдания поведал мне следующее.

Дела в прачечной с каждым днем шли все хуже и хуже. Была проведена новая железная дорога, изменившая всю топографию города. Прачечная находилась в южной части города, а новая железная дорога отвлекла всю промышленность и торговлю вместе с большей частью населения в северную. То место, где находился облюбованный было им, но отвергнутый мною трактир, сделалось самым бойким во всем городе, и тот, кто приобрел этот трактир, быстро разбогател, уплатив все свои долги. Южная часть города, где находилась прачечная Джо Хеккета, была признана нездоровой, так как оказалась построенной на болоте, поэтому тамошнее население обрадовалось возможности перебраться туда, где стало удобнее

жить.

Явились и новые несчастья для этого злополучного человека. Самый младший ребенок, его любимец, свалился нечаянно в котел с кипящей водой и в страшных мучениях отдал душу Богу. Теща, попав тоже нечаянно в коток, превратилась в калеку, и за ней с тех пор приходилось ухаживать днем и ночью.

Понятно, что при таких грустных обстоятельствах и ударах судьбы, следовавших один за другим, Джо, в конце концов, отчаянно запил и без рюмки теперь не может уж обойтись. Да и в чем другом мог бы он искать утешения и забвения? Ведь я и сам предугадывал, что это непременно должно случиться с ним, хотя, по-моему, не в прачечной, а в трактире, где он мог постоянно соблазняться обилием спиртных напитков вокруг.

Он вполне ясно сознавал свое падение и горько оплакивал его. Он говорил, что в таком веселом месте, как в трактире, он, наверное, и сам всегда находился бы в хорошем расположении, забывал бы свои домашние неурядицы и не стал бы так страшно пить, а следовательно, сберег бы и здоровье и силы. Сверх всего этого, прачечная для него и его семьи оказалась гибельной еще и потому, что вечная сырость, насыщенные мыльным и другими едкими запахами пары, угар от утюгов и т. п. действовали на всех как медленно подтачивающий здоровье яд.

Я спросил его, как относится ко всему этому капитан, одолживший ему тысячу долларов. Он снова разрыдался и долго не мог выговорить ни слова. Наконец прерывающимся от рыданий голосом он объявил, что этот хороший человек отдал свою чистую душу Богу. Овладев собою настолько, чтобы говорить по возможности понятно, он сказал, что мой вопрос о капитане напомнил ему, зачем он опять пришел ко мне. Капитан завещал ему пять тысяч долларов, и вот он, Джо, снова явился просить моего совета, как ему выгоднее распорядиться этой суммой.

Моим первым порывом было броситься на этого непрошеного клиента и убить его на месте. Жалею, что я не сделал этого. Но я удержался и предложил ему любое из двух: быть выброшенным в окно или быть сброшенным с лестницы без всяких дальнейших разговоров и церемоний.

Он покорно ответил, что готов на то и на другое, если только сначала я дам ему совет, куда ему вложить деньги: в «Компанию Терра-де-Фуэго», учрежденную для добывания нитрата, или же в банк «Мирного Объединения». Для него лично жизнь уже не имеет никакой цены. Единственное его желание — сохранить оставленные ему покойным капитаном деньги, так чтобы он мог быть спокоен за судьбу своих детей, которых так любит, потому что они все в него, а не в мать. Впрочем, он, как человек

добросовестный, желал бы видеть спокойной и ее старость, так как она, Хенна, все-таки мать его детей.

Он приставал, чтобы я высказал свое мнение относительно нитрата. И когда я наотрез отказался от этого, он вывел заключение, что я потому отказываюсь высказаться о нитрате, что это дело в моих глазах ничего не стоит, и что поэтому он положит завещанные ему деньги в банк «Мирного Объединения».

Я с сердцем ответил, что он может делать со своими деньгами все что хочет, и просил оставить меня в покое. Он замолчал и недоумевающим, вопросительным взглядом долго смотрел мне прямо в глаза, потом многозначительно улыбнулся и сказал, что понял меня и сердечно благодарен мне за мою доброту. При этом он добавил, что непременно вложит весь свой капитал в дело разработки нитрата.

Поблагодарив еще раз меня, он поднялся и стал прощаться со мною. Но меня дернула нелегкая остановить его и даже сказать, что всякое предприятие, подобное компании для разработки нитрата, очень не надежно и не нынче завтра может лопнуть, разорив своих пайщиков. Дело в том, что моя бабушка, старуха очень дальновидная, поместила довольно порядочную сумму именно в эту компанию, но я почему-то был уверен, что деньги бабки непременно пропадут и ей придется на старости лет терпеть нужду, а мне лишиться после нее наследства. Вот ввиду этой моей уверенности я сказал Джо, что лучше уж поместить деньги в солидный банк «Мирного Объединения», нежели в ненадежную «Компанию Терра-де-Фуэго».

Обрадованный малый еще раз сердечно поблагодарил меня и с повеселевшим видом удалился, сказав, что завтра же вложит все свои деньги в указанный мною банк.

Вскоре я, к своему удивлению и ужасу, узнал, что банк «Мирного Объединения» начал шататься и года через два, несмотря на все свои усилия удержаться на высоте, с треском рухнул, оставив, как говорится, при пиковом интересе всех своих вкладчиков. Весь финансовый мир не менее меня был поражен этим прискорбным фактом. Между тем дела компании для разработки нитрата все улучшались и улучшались, и ее акции все подымались и подымались в цене, так что когда моя бабка умерла, то на ее долю в компании оказался целый миллион вместо тех ста тысяч, которые она вложила в дело. Кстати сказать, из этого миллиона мне не досталось ни гроша. За то, что я постоянно спорил с бабкой, находя дело разработки нитрата ненадежным, она все свое состояние в отместку мне за это завещала дальним родственникам и благотворительным учреждениям. Хорошо, что у меня самого есть кое-что, иначе мне

было бы еще обиднее.

Но этим дело не ограничилось. Несколько дней спустя после официального объявления о крахе банка «Мирного Объединения» мой злополучный клиент снова явился ко мне, но на этот раз уже не один, а в сопровождении всех своих домочадцев в числе шестнадцати душ. Можете себе представить мое положение! Что мне было делать с ними? Ведь своими советами я довел эту семью до полной нищеты, значит, был обязан что-нибудь сделать для нее. И вот я с тех пор вынужден был содержать всю обездоленную мною семью.

Это было семнадцать лет тому назад, я до сих пор не перестаю заботиться об этой семье, которая теперь состоит уже из двадцати двух душ и к весне ожидается еще прибыль, — заключил со вздохом рассказчик. — Вот моя история, сэр. Надеюсь, вы теперь понимаете, почему я вдруг так сильно взволновался, когда вы стали просить моего совета. В течение этих семнадцати лет я никому больше не даю никаких советов даже в самом пустом деле, — с новым вздохом прибавил он.

Эту самую историю я и рассказал Мак-Шонесси. Спокойно выслушав ее, он заметил, что моя история довольно поучительна и что он постарается запомнить ее, чтобы, со своей стороны, передать ее некоторым из его знакомых, которым она принесет несомненную пользу.

Не могу сказать, чтобы в начале наших литературных собраний дело у нас сразу пошло успешно. Виною этого был Браун. Он начал с истории об одной собаке. Это была старая-престарая история о той собаке, которая каждое утро ходила в булочную с пенни в зубах и взамен монеты получала булку. Как-то раз булочник, думая, что животное не в состоянии понять разницы, дал ей булку в полпенни вместо той, которая стоила пенни. Собака взяла булку и, тщательно осмотрев ее, направилась с нею прямо в полицию, где собаку хорошо знали. Браун слышал эту историю утром в тот день, в который мы собрались для совместного обсуждения предполагаемой повести, и весь был поглощен ею.

Для меня всегда оставалось тайной, где находился Браун в последние столетия. При встрече с вами на улице он всегда останавливает вас и восклицает: «Стойте! стойте! я имею рассказать вам нечто совсем новенькое... Ха-ха-ха! Умрете от смеха». И начнет очень многословно, хотя и не без юмора, описывать одну из самых распространенных шуток насчет нашего праотца Ноя, или что сказал Ромул своему брату Рому перед тем, как они задумали основать Рим.

Обыкновенно он передает эти заплесневевшие редкости за собственные приключения или же за эпизод из жизни одного из своих многочисленных кузенов. Каждому из нас приходилось видеть какой-нибудь комический или трагический случай. Мне, например, на своем веку очень редко попадался человек, который не был бы очевидцем того, как один пассажир свалился с верха омнибуса прямо в телегу с навозом и с трудом был извлечен оттуда.

Находится в обращении рассказ и о том, как одна дама, муж которой внезапно заболел ночью в гостинице, сама бросилась в аптеку (было уже поздно, и она не решилась беспокоить прислугу) за горчичником. Прибежав обратно в гостиницу с листиком, намазанным этим чудодейственным снадобьем, дама впопыхах ошиблась номером и ворвалась в другой, соседний. Там крепко спал чужой мужчина. Дама стащила с него одеяло, обнажила его грудь и стала прилаживать на нее горчичник, не обращая внимания на протесты проснувшегося в испуге, совершенно здорового незнакомого ей человека.

Я так часто слышал эту историю, что каждый раз прихожу в нервное возбуждение, когда мне приходится ночевать в гостиницах. Всякий, рассказывавший эту историю, оказывается,

всегда помещался в соседнем номере с несчастным постояльцем, явившимся жертвой дамской ошибки, и просыпался от крика своего соседа, которому неожиданно поставили горчичник.

Так и Браун. Он хотел уверить нас, что то допотопное животное, которое было героем его самой «свежей» новости, принадлежало его шуруну, и очень обиделся, когда услышал, как Джефсон пробормотал себе под нос, что он — двадцать восьмой человек, шурин которого имел ту собаку, не говоря уж о тех ста семнадцати, которые сами обладали ею.

Мы надеялись сразу приступить к делу, но Браун совсем выбил нас из колеи. Опасная вещь рассказывать истории о собаках в обществе людей, задумавших серьезное дело! Стоит им только услышать от кого-нибудь такую историю, как каждый из них сейчас же припомнит подобную, но по его мнению еще более интересную.

Есть еще одна история (за достоверность которой не ручаюсь, потому что слышал ее от человека, обладающего некоторой долей фантазии) об умиравшем человеке. Приходский пастор, человек очень набожный и добрый, пришел посидеть к нему и, чтобы немного развлечь его, рассказал довольно трогательную историю об одной умной собаке.

Когда он окончил, умирающий приподнялся на своей постели и с оживлением проговорил:

— Я знаю еще более интересную историю о собаке. Эта собака была коричневого цвета, поджарая, с висячими ушами и...

Это усилие оказалось последней вспышкой его жизни. Он вдруг замолк и тяжело опустил голову на подушки. Присутствовавший при этом врач наклонился над ним и объявил, что умирающий отходит.

Добрый пастор взял за руку умирающего, любовно пожал ее и ласково произнес:

— Господь да благословит вас. Не горюйте, мы еще встретимся там.

Умирающий с усилием повернул к нему голову и еле слышно прошептал:

— Напомните... мне... тогда... пожалуйста... о... соба...

И, не dokonчив этой фразы, он с тихой улыбкой отошел в лучший мир.

Браун, уже успевший угостить нас своей собачьей историей, был удовлетворен и стал приставать, чтобы мы приняли, наконец, за дело. Но мы не были в состоянии исполнить его желание. Вместо дела мы принялись припоминать все истории о собаках, слышанные нами за последнее время, выбирая в уме ту, которая, по мнению каждого из нас, была более интересна и

менее известна.

Мак-Шонесси особенно сильно волновался и положительно не находил себе места. Очевидно, его подмывало о чем-то рассказать. Но Браун предупредил его и произнес какую-то длинную речь, которую никто не слушал, закончив ее словами:

— Ну, скажите на милость, какой еще лучшей темы нужно вам? Этот сюжет до сих пор никем не использован, характеры всех героев вполне оригинальны и...

Но тут Мак-Шонесси больше уж не мог утерпеть.

— Кстати о сюжетах, — вдруг прервал он. — Не рассказывал я вам о собаке, которая была у нас, когда мы жили в Норвуде?

— Это ты опять о своем бульдоге? — с видимым нетерпением спросил Джефсон.

— Да, о бульдоге, но нечто совсем новое, чего вы никогда еще не слыхали, — ответил Мак-Шонесси.

Мы по опыту знали, что все наши возражения ни к чему не поведут, поэтому покорились и приготовились слушать.

— Дело в том, — приступил Мак-Шонесси к повествованию, раз двадцать уже слышанному нами, — что у нас в одно время в окрестностях появилось много мелких воришек, и отец решил завести хорошую собаку. Зная, что самыми лучшими сторожами бывают бульдоги, он приобрел собаку этой породы, отличавшуюся особенно свирепым видом.

Увидев этого бульдога, мать страшно испугалась и крикнула отцу:

— Господи! Неужели ты думаешь держать в доме такого ужасного зверя? Да ведь он нас всех перегрызет. Это так и написано на его отвратительной морде.

— Ну, нас-то он не тронет, а вот непрошенных ночных гостей едва ли пощадит. Для этого я и добыл его, — спокойно ответил отец.

— Ах, Томас, как тебе не стыдно так говорить! — возразила мать. — Это совсем не похоже на тебя. Конечно, мы вправе защищать свое имущество, но посягать на жизнь наших близких...

— Наши ближние будут в полной безопасности до тех пор, пока не вздумают непрошеными пожаловать ночью к нам на кухню, — перебил отец. — Я помещу бульдога в чулан при кухне, а дверь туда оставлю незапертой. Если какой-нибудь ночной гость заберется в кухню, то пусть как хочет бережет свою шкуру, — решительным тоном добавил он.

Мои старички, всю жизнь прожившие очень дружно, теперь ежедневно стали ссориться из-за бульдога. Мать говорила, что отец сделался чересчур жесток, а отец находил, что мать стала

слишком чувствительна. А что касается собаки, то она с каждым днем становилась все свирепее и свирепее на вид.

Однажды ночью мать разбудила отца испуганным шепотом:

— Томас, кажется, в кухню забрались воры... Я слышала, как скрипнула кухонная дверь.

— Ну, и пускай их, — пробормотал сквозь сон отец. — Они будут иметь дело с собакой.

— Томас, — умоляющим голосом продолжала мать, — я не могу спокойно спать, пока знаю, что в нашем доме один из наших ближних будет растерзан. Если ты не желаешь идти спасать человека, то я пойду сама...

Продолжая ворчать, отец вооружился револьвером и отправился в кухню. Мать оказалась права: в кухне действительно находился вор. Окно кладовой, выходявшее на улицу, было открыто, а в кухне через неплотно притворенную дверь виднелся свет. Отец осторожно подкрался к этой двери и заглянул в нее. Представившаяся его глазам картина поразила его. В кухне, за столом, преспокойно сидел какой-то субъект в сильно потрепанной одежде и рваных сапогах и за обе щеки уплетал холодный бифштекс с пикулями. Рядом с этим субъектом на полу мирно сидел бульдог и, пристально глядя в лицо евшему, вилял хвостом, строя при этом самое умильное выражение морды, насколько позволял ее свирепый вид. Бродяга по временам бросал своему четвероногому компаньону подачки, которые тот подхватывал на лету и с жадностью проглатывал.

— Ах, черт возьми! Вот так штука! — невольно вырвалось у оторопевшего отца.

Услыхав это восклицание, воришка поспешил выскочить из кухни в чулан, из чулана в кладовую, а из кладовой, через окно, прямо на улицу, где и скрылся. Собака же, снова водворенная в чулан, видимо, была очень недовольна вмешательством хозяина в ее приятную компанию с вором.

На следующее утро мы с отцом повели бульдога назад к тому дрессировщику, у кого приобрели его.

— Вы помните, для чего я приобрел у вас эту собаку? — спросил у дрессировщика отец.

— Вы просили хорошего домашнего сторожа, — ответил тот.

— Именно сторожа, а не компаньона вора! — подхватил отец. И отец передал то, чему был очевидцем прошлой ночью. Дрессировщик согласился с тем, что отец имел полное право быть недовольным.

— Я скажу вам, сэр, в чем дело, — добавил он виноватым тоном. — Этого бульдога дрессировал мой молодой помощник и, как я потом узнал, научил его воевать не с ворами, а с крысами.

Оставьте мне собаку. Я сам займусь ею. И поверьте, через неделю она никому чужому не даст спуска в вашем доме.

Мы оставили бульдога, и через восемь дней дрессировщик сам привел его назад к нам.

— Теперь останетесь довольны, сэр, — объявил он отцу. — Эта собака не из особенно понятливых, но все-таки мне думается, я вдолбил в нее то, что от нее требуется.

Отцу захотелось проверить эти слова дрессировщика. Он нанял за шиллинг одного бедняка с тем, чтобы тот проник в кухню через кладовую и чулан, причем дрессировщик должен был держать собаку на цепи. Бульдог оставался совершенно спокойным, пока тот человек входил в кухню, но когда он появился там и хотел взять со стола нарочно поставленную тарелку с мясом, собака так рванулась к нему, что дрессировщик с большим трудом мог удержать ее. Порвись цепь или выпусти ее дрессировщик из рук, нанятому бедняку несдобровать бы.

Отец обрадовался, что теперь все в доме могут спать спокойно, а быстро распространившийся слух об изменившихся отношениях бульдога к ворам заставил их быть поосторожнее и прекратить ночные визиты к нам.

Прошло несколько месяцев без всяких приключений, но потом, в одну ночь, вдруг случился инцидент. На этот раз не могло быть ни малейшего сомнения, что собака добросовестно исполняет свою обязанность. Из кухни доносился страшный шум. Слышно было, как там опрокидывались столы и табуреты и звенела разбивающаяся посуда. Мы сломя голову бросились туда.

На полу кухни барахтался хрипевший человек, лежавший ничком, а над ним, с ошетилившейся шерстью и налитыми кровью глазами стояла собака и делала попытки схватить лежавшего за горло. Отец приставил к виску пришельца револьвер, между тем как я с огромными усилиями оттащил упиравшуюся собаку в чулан и посадил ее там на цепь.

Только после всего этого мы разглядели, что перед нами на полу не вор, а местный знакомый полисмен.

— Господи помилуй! — вскричал озадаченный отец, всплеснув руками и выронив револьвер. — Как вы попали сюда? — с изумлением спросил он.

— Как я попал сюда? — сердито повторил констебль, поднимаясь при моей помощи на ноги. — Разумеется, не для собственного удовольствия, а при исполнении своих служебных обязанностей. Я заметил, как в окно с улицы полез вор, и бросился за ним...

— И схватили его? — с живостью перебил отец.

— Как же, схватил! — воскликнул констебль, побагровев от

злости. — Разве я мог схватить его, когда эта чертова собака свалила меня с ног, не дав мне опомниться, и чуть было не загрызла. Пока я воевал с нею, вор воспользовался этим и удрал тем же путем в окно... Теперь вот и поминай его как звали!.. Советую вам, сэр, избавиться от этой дурацкой собаки и завести вместо нее другую, которая умела бы отличать воров от констеблей.

На следующий день мы с отцом отвели бульдога обратно к дрессировщику, — заключил свою историю о собаке рассказчик.

После того, как Мак-Шонесси облегчил себя этим рассказом, Джефсон также пожелал поделиться с нами трогательной историей о собаке, которой переехавший через нее экипаж раздробил лапу. Проходивший мимо студент медицинского факультета подобрал злополучное животное и отнес ее в ветеринарный институт. Там собаке вправили и вылечили лапу. Добрый студент узнал, кому она принадлежала, и лично доставил ее хозяевам, которые очень обрадовались ей.

Очевидно, собака понимала, что ей делали добро, и была самой покорной пациенткой, так что весь медицинский и служебный персонал института очень горевал, расставаясь с нею.

Несколько дней спустя пользовавший эту собаку врач увидел, как она подошла к подъезду института, держа в зубах небольшую серебряную монету. Возле подъезда стояла тележка продавца мяса для кошек и собак. На мгновение собака остановилась и принялась обнюхивать воздух около тележки, очевидно, колеблясь, не потратить ли ей имевшуюся в зубах монету на приобретение сытного завтрака. Однако более благородное побуждение взяло верх. Она круто повернулась, быстро взбежала на подъезд, поднялась на задние лапы и опустила свою монету в сборную кружку; затем так же поспешно удалилась.

Чувствительный Мак-Шонесси до глубины души был потрясен этой историей. Он с умилением говорил, что она ярко обрисовывает прекрасные свойства собак вообще, а этой — в особенности.

После этого мои соратники, освободившись от мучивших их собачьих историй, изъявили было готовность приступить к обдумыванию темы нашего будущего совместного труда, но не был еще готов я. Мой мозг тоже свербил две-три собачьи истории, не менее интересные на мой взгляд.

У меня одно время был маленький каштанового цвета песик из породы терьеров. Собственно говоря, он был не у меня лично, а только находился в том доме, где жил я. Он, в сущности, никому не принадлежал. Судя по его независимому характеру, у него, по всей вероятности, никогда и не было владельца. Он жил вполне

свободным, не без труда добывая средства к существованию. Своей спальней он облюбовал сени нашего дома, а столовался у всех жильцов по очереди.

В четыре часа утра он слегка закусывал с молодым Холлисом, учеником инженера, заставлявшего его вставать так рано, чтобы тот пораньше мог приняться за науку. В восемь терьер разделял более существенный завтрак с мистером Блезом, биржевым маклером, а в одиннадцать составлял компанию Джеку Гедбету, который был газетным репортером и работал по ночам, а потому вставал позднее всех в доме.

С одиннадцати собака обыкновенно исчезала и возвращалась ровно в пять к моему обеду. Где она пребывала и что делала в этот промежуток — мы долго не знали, пока это не выяснил Гедбет. Он уверял, что несколько раз видал, как собака выходила из лавки одного менялы на Среднидль-Стрит. Это уверение, на первый взгляд совершенно невероятное, оказалось вполне возможным после того, когда мы узнали необычайное пристрастие терьера к... деньгам!

В самом деле, влечение собаки к такому неподходящему для нее предмету было прямо поразительное. Терьер был уже пожилым песиком с сознанием собственного достоинства. Но когда, бывало, покажут ему мелкую монету с обещанием отдать ее, если он поймает зубами свой хвост и будет кружиться с ним вокруг собственной оси, то он тотчас же принимался за это упражнение и проделывал его до тех пор, пока не падал от усталости.

Кроме этого, терьер знал несколько разных других фокусов. По вечерам он ходил из квартиры в квартиру и в каждой из них давал представление, по возможности разнообразя его; потом садился на задние лапки, складывал передние и, соорудив умильную мордочку, выжидал подачки. В доме не было ни одного жильца, который не давал бы ему мелкой монеты. Таким образом, в течение нескольких лет, которые он провел среди нас, он должен был накопить целое состояние.

Как-то раз я увидел его в уличной толпе глазеющим на дрессированного пуделя, сопровождавшего шарманщика. Этот пудель, между прочим, становился на передние лапы и, подняв кверху задние, обходил в таком виде вокруг шарманки. Зрители от души смеялись, глядя на потешные ужимки четвероногого акробата. А когда он, вдосталь нагулявшись в таком неестественном для него положении, доставал зубами с шарманки деревянную мисочку и обходил с нею зрителей, мисочка быстро наполнялась мелкими монетами.

Вернувшись домой, наш терьер тотчас же начал упражняться

в хождении на передних лапах с поднятыми вверх задними. На третий день он достиг в этом искусстве уже полного совершенства и отправился по квартирам показывать свой новый фокус, чем и заработал целых шесть пенсов. В его немолодые уже годы да еще при ревматизме, которым были поражены его лапы, этот новый трюк давался ему не особенно легко. Но ради блестящих монеток терьер не жалел себя.

Он прекрасно знал цену деньгам. Когда, бывало, держишь в одной руке пенсовую монету, а в другой — трехпенсовую и предлагаешь ему взять любую, он непременно потянется за трехпенсовой и выхватит ее, а потом начинает досадовать, отчего ему не дали и пенсовую. Его спокойно можно было бы оставлять одного в гастрономическом магазине со всевозможными мясными деликатесами, и он ничего не тронул бы, но денег на виду нельзя было класть: обязательно стащит.

Временами он понемногу тратил из своего капитала. Он очень любил слоеные пирожки, и когда, бывало, в течение недели наберет порядочную сумму, то по воскресеньям позволял себе побаловаться одним, а иногда и парой пирожков. Но он не всегда платил за них; нередко ему удавалось получить это лакомство и бесплатно. Он действовал так: входил в булочную, демонстративно держа в зубах пенсовую монету и, разыгрывая настоящую смиренную овечку, очень умильно смотрел и скромно вилял хвостом. Подойдя как можно ближе к пирожкам и впиваясь в них глазами, он начинал потихоньку пищать, точно кошка. Поняв, в чем дело, булочник бросал ему пирожок.

Для того чтобы завладеть пирожком, терьер должен был выронить из пасти монету. И вот между ним и булочником начиналась борьба. Булочник старался поднять ее с полу, а собака наступала на нее лапой. Кончалось это обыкновенно тем, что терьер съедал пирожок, потом быстро подхватывал пастью монету и со всех лап бросался наутек.

Однако мало-помалу слава о таких проделках терьера, к которым он стал прибегать все чаще и чаще, распространилась по всему округу; ни один торговец более не доверял ему и не отпускал в кредит, а требовал сперва уплаты за товар. Тогда терьер арену своей деятельности перенес в другой участок, где его никто еще не знал и куда слава о нем не успела еще проникнуть. Там он облюбовал такие торговые учреждения, которые обслуживались стариками или женщинами, и действовал более успешно. Говорят, пристрастие к деньгам — корень всех земных зол. И действительно, в конце концов, оно лишило и нашего терьера всяких нравственных устоев и даже — самой жизни.

Как-то раз он давал представление в комнате, где собралось несколько человек. Когда собака исчерпала всю свою программу, Холлис бросил за всех нас шестипенсовую, как он думал, монету. Терьер с жадностью подхватил ее и поспешил с нею под диван. Это показалось нам подозрительным, и мы заявили об этом Холлису.

Он поспешно вынул свой кошелек и пересмотрел находившиеся в нем деньги.

— Так и есть! — вскричал он. — Вместо шестипенсовой серебряной монеты я по ошибке бросил этой маленькой бестии золотую в полсоверена... Тини, поди-ка сюда! — позвал он, заглянув под диван.

Но Тини молча сидел в самом дальнем углу под диваном, и никакими ласковыми и многообещающими словами нельзя было выманить ее оттуда.

Тогда мы прибегли к более действительным мерам. Холлис залез сам под диван и стал вытаскивать терьера за хвост. Он отчаянно сопротивлялся, визжал и рычал; вероятно, стал бы и кусаться, если бы не мешала монета, которую он крепко держал в пасти.

Наконец он все-таки очутился у наших ног на ковре. Мы начали ласково убеждать собаку возвратить золотую монету и предлагали взамен ее такой же величины серебряную. Но собака ни за что не соглашалась на этот невыгодный для нее обмен.

— Ну, Холлис, видно, вам придется проститься с вашим полусовереном! — сказал Гедбет, смеясь.

Все остальные, за исключением самого Холлиса, тоже находили эту выходку собаки очень забавной. Но Холлис не желал пожертвовать такой сравнительно крупной суммой и решил во что бы ни стало отнять у собаки свою золотую монету. Он схватил терьера одной рукой за шиворот, а другой старался вырвать у него из пасти монету. Собака всячески сопротивлялась. Наконец, чувствуя, что удержать у себя монету не удастся, песик проглотил ее. Но монета была слишком велика и застряла у него в горле. Собака с вытаращенными глазами и хриплым воем стала кататься по коврику.

Это сильно встревожило нас. Нам было очень жаль животное. Мы вовсе не желали собаке зла, да и вообще были не из тех, которые могут хладнокровно смотреть на страдания живого существа. Холлис схватил длинные каминные щипцы и старался вытащить ими застрявшую в горле терьера монету, а остальные трое держали собаку, ласково уговаривая ее.

Но бедное животное, очевидно, не понимало наших добрых намерений. Оно воображало, что мы хотим отнять у него то, что

оно, по его мнению, добросовестно заслужило, и мужественно отстаивало свою собственность до последней минуты. Благодаря усиленным движениям несчастного пса монета проникла еще глубже в его горло, так что не было никакой возможности извлечь ее оттуда, и наш злосчастный терьер в страшных мучениях пал жертвой своей алчности, как гибнет множество людей по той же проклятой причине...

Кстати, насчет золота. Я видел однажды сон, оставивший во мне глубокое впечатление. Мне снилось, будто я с одним добрым, очень дорогим мне другом живу в старинном и странном доме и что, кроме нас двоих, в этом доме больше никого не было. Я будто бы ходил один по дому и вдруг заметил потайную дверь. Отворив ее, я очутился в обширном помещении, сплошь уставленном большими, окованными железом сундуками. Я поднял тяжелые крышки этих сундуков и увидел, что все сундуки наполнены золотом.

Увидев это, я потихоньку прокрался назад, затворил плотно дверь и вновь прикрыл ее обоями, под которыми она скрывалась. После этого я поспешно побегал по длинному, мрачному коридору, то и дело в ужасе оглядываясь назад.

На одном из поворотов я встретился со своим другом, которого так сильно любил раньше, но в тот момент возненавидел его. Я весь день оставался с ним или украдкой ходил за ним по пятам, не упуская его ни на минуту из вида: я боялся, как бы и он не проник в кладовую с золотом.

В одну ночь я никак не мог сразу заснуть и, приподнявшись на своей постели, заметил, что постель моего друга пуста. Мы спали с ним в одной комнате. Я бросился в знакомый мне мрачный коридор и увидел, что обои, под которыми находилась потайная дверь, откинуты, самая дверь отворена, а мой друг стоит на коленях пред одним из открытых сундуков и пристально смотрит на золото, которое так и переливается в лучах откуда-то падающего яркого света.

Друг находился ко мне спиной, и я шаг за шагом осторожно подкрадываюсь к нему. В руке у меня большой нож с крепким кривым лезвием вроде турецкого ятагана. Я бросаюсь с ним на своего друга и убиваю его.

Тело его опрокидывается навзничь и стучается о дверь, которая с шумом захлопывается. Я стараюсь открыть ее, но не могу. Я ломаю себе ногти и пальцы об ее железную обшивку, громко кричу, а мертвец скалит на меня зубы. Я умираю от голода и с ожесточением грызу окованные железными полосами дубовые доски одного из сундуков.

Потом вдруг я просыпаюсь весь в холодном поту и чувствую в

самом деле голод. Тут я припоминаю, что вечером, по случаю головной боли, не мог ужинать и лег с пустым желудком. Я встаю и закусываю, после чего крепко засыпаю.

Утверждают, что сны являются мгновенными скоплениями мысли вокруг той причины, которая должна нас разбудить, и в доказательство этого наука приводит целый ряд неопровержимых фактов.

Другой сон, который также довольно часто снится мне, состоит в том, что будто бы я иду по очень широкой и длинной улице. Улица эта очень шумная и своеобразная. Вся она загромождена конюшнями и тележками, возле которых толпятся грязные, плохо одетые люди и что-то кричат во всю глотку. Вся улица по обеим сторонам окаймлена девственным тропическим лесом.

Со мною кто-то идет, но я не вижу своего спутника, а только чувствую его возле себя. Мы забираемся в лес, с трудом прокладывая себе путь сквозь густую сеть нависающих со всех сторон и перепутанных во всех направлениях ползучих растений вроде дикого виноградника. Кое-где между огромными стволами деревьев мелькают просветы на шумную улицу.

В конце лесной дороги я достигаю поворота. Здесь на меня вдруг нападает какой-то беспричинный страх. Дорога ведет к дому, в котором я жил еще ребенком, и мне представляется, что меня там ожидает что-то страшное.

Я круто повертываю назад. Мимо меня проходит omnibus. Я бросаюсь вдогонку за ним. Но лошади вдруг превращаются в крылатые скелеты и быстро уносятся от меня. Мои ноги точно наливаются свинцом и не повинуются мне. В это время мой незримый спутник схватывает меня за руку и с силой оттаскивает назад.

Он увлекает меня по дороге к дому и вводит туда. Дверь за мною с шумом затворяется, и я слышу, как по нежилым комнатам стонут какие-то отголоски. Я узнаю эти комнаты; это те самые, в которых я когда-то играл, смеялся и плакал. В них ничего не изменилось. Та же мебель находится на своих местах. Вязанье моей матери по-прежнему лежит на ее рабочем столике, откуда кошка обыкновенно стаскивала его на пол, чтобы поиграть клубком.

Я подымаюсь вверх, в свою комнатку. В одном углу находится моя детская кроватка, а по полу рассыпаны кубики, которыми я играл. Я ведь был довольно неаккуратным ребенком и часто забывал убирать свои игрушки.

Пока я с любопытством и страхом рассматриваю все это, в комнату вдруг входит сгорбленный, высохший, беловолосый

старик. Он держит над своей головой ярко горящую лампу и пристально смотрит на меня, а я, в свою очередь, смотрю на него и, к своему удивлению и страху, узнаю в нем самого себя. Потом входит другой человек, помоложе; и это также я. Вслед за тем начинают входить еще люди. Мало-помалу вся эта комнатка, прилегающая к ней лестница и весь дом наполняются людьми. Одни из них молоды и красивы и приветливо улыбаются мне, другие — стары и безобразны и насмешливо подмигивают мне. И каждое лицо у всех этих людей — мое собственное, хотя и не похоже одно на другое.

Вид самого себя в этих людях внушает мне такой ужас, что я сломя голову бросаюсь вон из этого дома. Мои двойники преследуют меня. Я бегу изо всех сил, все скорее и скорее, но чувствую, что мне не убежать от них...

По правилу, во сне каждый сам является героем своих видений. Но у меня случались сны, когда я чувствовал себя в них совершенно посторонним лицом и видел нечто такое, что ни с какой стороны не относилось ко мне самому. Я казался совсем посторонним, не имеющим никакого значения зрителем происходивших вокруг меня событий. Один из таких снов произвел на меня настолько сильное впечатление, что я даже хотел взять его сюжетом для рассказа, но потом нашел, что вышла бы слишком грустная история.

Еще в одном сне, который я видел тоже не один раз, демон внушает одному человеку, что пока тот не будет любить ни одного живого существа и не будет чувствовать ни малейшей нежности и жалости ни к жене, ни к ребенку, он будет иметь успех во всех делах и богатство и слава его будут возрастать с каждым днем. Но если у него хоть один раз и на один миг мелькнет при других проблеск доброго чувства к какому-либо живому существу, то все его земное величие тотчас же рухнет и самое имя его быстро забудется.

Будучи честолюбив и тщеславен, он проникся этими внушениями и, действительно, был окружен всеми благами жизни: богатством, почетом и могуществом. Его любила одна хорошая женщина, но умерла, тоскуя по его ласковому взгляду и слову; детские личики появлялись и исчезали. Но никогда ни один нежный порыв даже к самому близкому существу не тронул его сердца, никогда с уст его не сорвалось ни одного ласкового или просто теплого слова, никогда в мозгу его не затрепетала ни одна добрая мысль.

Прошли года. Все близкое ушло от него. Осталось только одно существо, которого ему следовало бояться: худенькое детское личико с большими, тоскующими глазами. Это существо

было его единственной дочерью, которую он любил так же горячо, как некогда его самого любила давно уже отошедшая в вечность женщина и скорбный, молящий взгляд которой постоянно преследовал его. Но он стискивал зубы и с деланным равнодушием отвертывался от этого взгляда.

Между тем печальное личико день ото дня все худело и бледнело, и в один пасмурный осенний день в главную контору его многочисленных предприятий явились и объявили ему, что его дочь умирает. Он бросился к ней, но в нескольких шагах от ее постели остановился со скрещенными на груди руками. Девочка повернула к нему голову и с немой, страстной мольбой простерла к нему руки. Но лицо его оставалось неподвижным, холодным и суровым. Тонкие и прозрачные руки ребенка безнадежно упали на разметанное ею в лихорадочном жару одеяло, полные печали, тоски и невысказанной муки напрасного ожидания глаза померкли, и старая няня осторожно закрыла их, а отец с наружным спокойствием снова вернулся к своим прерванным деловым занятиям, которые давали ему богатство, славу, почет и могущество.

Но по ночам, когда его роскошный дом погружается в безмолвие, этот человек украдкой поднимается вверх, в ту комнату, где лежит его мертвый ребенок, и откидывает простыню, которой он прикрыт.

— Умерла... умерла! — бормочет он, ломая руки.

Потом он берет мертвое тело на руки, прижимает к своей груди и покрывает поцелуями холодные уста, щеки и маленькие, худенькие, прозрачные, окоченевшие руки...

Далее мой сон становится уже невероятным. Мне снится, что мертвый ребенок продолжает лежать в своей комнатке, под белой простыней, и смерть не оказывает на него своего ужасного разрушительного действия.

Я несколько времени недоумеваю по этому поводу, но вскоре перестаю удивляться. Когда фея сна рассказывает нам свои сказки, мы, подобно детям, только смотрим широко раскрытыми глазами, жадно ловим каждое ее слово и верим всем ее рассказам, какими бы чудесными они нам ни казались.

И вот каждую ночь, когда весь дом погружается в глубокий сон, дверь в комнатку покойного ребенка неслышно отворяется, в нее тихо, крадучись, входит человек и осторожно затворяет ее за собою. Потом он снимает простыню с своей мертвой дочери, берет на руки маленькое тело и вплоть до утра, в продолжение долгих темных часов, неумоимо ходит взад и вперед по маленькой комнатке, крепко прижимая к себе мертвого ребенка, целуя его, лаская и называя самыми нежными именами, словно

любящая мать, укачивающая больную малютку.

А когда сквозь ставни в комнатку начинает проникать первый утренний луч, человек тот осторожно кладет обратно на постель свою дорогую ношу, заботливо накрывает ее простыней и уходит крадущимися шагами.

И дела его продолжают процветать; его богатство, слава, почет и могущество все возрастают и возрастают...

Много нам было хлопот с обрисовкой героини нашей повести. Брауну хотелось, чтобы она отличалась особенным безобразием. Нужно сказать, что главное стремление Брауна — быть во всем оригинальным. Достигает он своей оригинальности обыкновенно тем, что самое обыденное возьмет и вывернет наизнанку. Если бы в его распоряжение была предоставлена какая-нибудь новая планета с тем, что он может водворять на ней какие угодно порядки, то он, наверное, день назвал бы ночью, а лето — зимою; людей заставил бы ходить на голове и здороваться не за руки, а за ноги; деревья у него росли бы корнями в воздухе, а вершинами в земле; петухи несли бы яйца, а куры, восседая с важным видом на курятниках, выкрикивали бы во все горло «кукареку». Устроив на своей планете все шиворот-навыворот, он с самодовольствием воскликнул бы:

— Смотрите, какой оригинальный мир я создал по собственному вкусу!

Впрочем, и помимо Брауна на свете немало людей, имеющих такое же представление об оригинальности.

Но это в скобках. Вернемся лучше к нашему маленькому литературному собранию.

Нам, то есть Мак-Шонесси, Джефсону и мне, очень не хотелось придерживаться брауновской «оригинальности», поэтому мы объявили, что лучше удовольствуемся обыкновенной героиней.

— А доброй или злой? — поспешил спросить Браун.

— Злой! — сразу выпалил Мак-Шонесси. — А ты как думаешь, Джефсон?

Джефсон вынул изо рта трубку и своим тихим, грустным голосом, который он не изменял, что бы ни рассказывал — смешной анекдот или трагический случай, — произнес:

— Она не должна быть исключительно злодейкой, у нее должны быть и добрые чувства, сдерживаемые властью практического рассудка. Это будет интереснее.

— Странно, почему злые люди всегда интереснее добрых? — заметил Мак-Шонесси, задумчиво глядя вверх.

— По-моему, это вполне понятно, — подхватил Джефсон. — У дурных людей нет последовательности и устойчивости. Они постоянно держат нас в возбуждении неизвестности, а хорошие люди лишают нас этого удовольствия. Это то же самое, что езда на молодом, горячем и с известным норовом скакуне, и езда на вполне выдержанной, степенной лошади. Первый даст вам целую

массу интересных переживаний, а на второй вы спокойно можете совершить далекое путешествие без особенных приключений и развлечений, то есть будете скучать. Поэтому если мы выберем в героини воплощенного в женском образе ангела, то весь интерес к ней со стороны читателя будет исчерпан уже в первой главе. Ведь раз очерчен характер героини, то каждый наперед будет знать, как она может поступить в известных случаях.

Что же касается героини, в которой сидят злые начала, то никто не в состоянии предвидеть, что ей вздумается учинить в каждый следующий момент. Из многих открытых перед ней путей она случайно может избрать и верный, но может махнуть и на любой из неверных, и вы с напряженным любопытством следите, что с нею случится на этом неверном пути.

— Однако немало есть и добрых героинь, судьба которых тоже очень интересна, — возразил я.

— Да, когда они сбиваются с настоящего пути благодаря посторонним влияниям, от которых не сумели уберечься по своей доброте, — сказал Джефсон. — Постоянно добродетельная героиня так же скучна, как казался скучным Сократ для своей жены Ксантиппы, или каким бывает благодетельный ученик для своих товарищей.

Возьмите добродетельную героиню романов восемнадцатого столетия. Она с трепетом является на свидание со своим возлюбленным с той только целью, чтобы сообщить ему о невозможности сделаться его женой и разразиться при этом целыми потоками слез. Она всегда бледнеет при виде чего-нибудь кажущегося ей страшным и в самые неудобные моменты лишается чувств. У нее совсем нет собственной воли. Она потому не решается выйти замуж за того, кого любит, что этого не желает ее папаша, мамаша и вся родня. Повторяю, такая героиня не может быть интересна для читателей, какой бы она ни обладала чарующей красотой и какими бы ни отличалась добродетелями.

— Твое мнение грешит односторонностью, — снова возразил я. — Ты говоришь о добродетельных, но слабохарактерных женщинах, а ведь есть такие женщины и с сильным характером.

— Может быть, — согласился Джефсон.

— Вообще я недостаточно сведущ, чтобы высказать верное суждение по этому вопросу, — откровенно сознался он. — Я нахожу, что эта тема слишком глубока и сложна даже для самого проницательного человеческого ума. А куда же уж мне соваться разрешить ее. Поэтому я и говорю, придерживаясь мнения других людей, более развитых, чем я. А эти люди говорят, что понятие о добре — вещь условная. Это понятие изменяется и во времени и в местности, находясь в полной зависимости от господствовавших в

разных веках и местах воззрений. В наше время от «порядочной» женщины требуется, главным образом, чтобы она была добра к бедным и...

— Ох, уж эти бедные! — вдруг вмешался Мак-Шонесси, поставив ноги на каминную решетку и такими рискованными движениями раскачивая свое кресло, что оно угрожало перекувырнуться, и мы с интересом следили за этим упражнением.

— Мне кажется, наши братья-бумагомаратели, как многих из них совершенно правильно называет публика, слишком плохо сознают, скольким они обязаны бедным. Что бы стали делать наши мягкосердечные героини и великодушные герои, если бы не было бедных? Нам нужно показать, что наша героиня не только прекрасна, но и добра. Мы заставляем ее наполнять большую корзину (которую обыкновенно несет за нею дюжий лакей) жареными цыплятами, бутылками дорогого вина и отборным печеньем, надевать на голову «изысканной простоты» шляпу, накидывать на плечи «простенькую» шелковую мантилью, брать в руки «недорогой» белый кружевной зонтик и отправляться в «убогие хижины умирающих с голоду бедняков». Чем нам доказать, что и наш герой, несмотря на все его легкомыслие и полную непригодность к чему-либо серьезному, обладает благородным сердцем? Конечно, только тем, что он «добр к бедным».

А что делать богатому старику, чувствующему, что его песня уже допеваётся и что ему пора позаботиться о теплом местечке на том свете? Да что же еще, как не сделаться «добрым к бедным»? И не будь бедных, которым он может благотворить, чем бы он мог заслужить себе местечко в раю? Ему так и пришлось бы уйти с этого света на тот с неискупленными грехами. Да, большое утешение знать, что к нашим услугам есть бедные, служащие для нас лестницей в рай. Без них нам ни за что не попасть бы туда.

Мак-Шонесси, сделав особенно рискованный пируэт на своем кресле, чуть не заставив его перекувырнуться, умолк. Несколько времени среди нас царило молчание, нарушаемое только энергичным посасыванием рассказчиком своей трубки. Молчание было прервано Брауном.

— По поводу затронутой Мак-Шонесси темы я могу рассказать вам один случай, — сказал он, усаживаясь поудобнее в своем кресле. — Один из моих кузенов занимается комиссионной продажей недвижимого имущества в провинции. В списке имений, порученных ему для продажи, была одна старинная господская усадьба с прекрасно устроенным и обставленным домом, большим парком и прочими угодьями. Усадьба эта

несколько лет не шла у него с рук. Он уж отчаялся было продать ее, как вдруг к нему обратилась пожилая дама, богато одетая и приехавшая в собственном экипаже, и попросила дать ей подробные сведения об этой усадьбе. Дама говорила, что случайно, проездом, увидела усадьбу, была поражена ее красотой и живописностью и узнала, что усадьба продается через посредство моего кузена. При этом она добавила, что уже давно подыскивает спокойный и красивый уголок, где могла бы тихо и мирно дожить остаток своих дней, и думает, что эта усадьба как раз подойдет ей.

Кузен, обрадовавшись этой неожиданной покупательнице и, по-видимому, очень выгодной, тотчас же повез ее в усадьбу, находившуюся в восьми милях от города, в котором он жил. Дама подробно осмотрела усадьбу, и она ей понравилась.

Само собой разумеется, мой кузен, как говорится, из кожи лез, чтобы еще более заинтересовать покупательницу. Он уверял, что спокойнее и живописнее этого местечка трудно найти, указав, между прочим, на близость церкви и города как на особые преимущества. Вообще довел покупательницу до полного экстаза, так что она тут же решила приобрести усадьбу.

Но когда все было решено и оставалось только составить и подписать продажный документ, покупательница, обходя еще раз дом, вдруг остановилась и озабоченно проговорила:

— Ах, да, вот еще что, мистер Браун. Скажите, пожалуйста, есть тут поблизости бедные и много ли их?

— Бедные? — в недоумении повторил мой кузен. — Здесь нет бедных, миледи.

— Как нет?! — вскричала дама. — Не может быть, чтобы тут не было нуждающихся... вообще обездоленных... Наверное, они есть вот в той деревушке.

— Да нет же, миледи, клянусь вам, что ни в этой деревушке, ни в окрестностях на целые пять миль кругом нет настолько бедных людей, чтобы они нуждались в помощи. Будьте покойны, миледи, — уверял мой кузен.

— Но как же это... почему же так? — приставала покупательница.

— Да просто потому, что эта местность отличается особым плодородием, но населена еще довольно слабо, так что земли вполне достаточно для всех. Здешние поселяне занимаются хлебопашеством, скотоводством, огородничеством, держат птичьи дворы и излишек продуктов возят в город. Поэтому вот все и живут в полном достатке, — пояснял мой кузен.

— Да? Ах, как грустно слышать это! — тоном глубокого

разочарования заметила покупательница. — Этот прелестный старинный дом со всем, что принадлежит к нему, местоположение усадьбы, близость к церкви и к городу, — все это как нельзя лучше подходит ко мне. Не будь только вот этого странного отсутствия бедных...

— Позвольте, миледи! — перебил мой кузен, в первый раз слышавший подобную претензию и только теперь начинавший понимать ее причину, так как сначала думал, что покупательница боится близости бедных. — Мы всегда находили одним из главных преимуществ этой усадьбы именно отсутствие таких соседей, бедность которых может оскорблять зрение и тревожить сердца богатых собственников. Но если вам необходимы бедные, то...

— Мистер Браун, — прервала в свою очередь покупательница, — я буду с вами вполне откровенна, и тогда, надеюсь, вы поймете меня. Я, как видите, начинаю уже стариться и жизнь свою до сих пор вела, быть может, не совсем... правильно. У меня есть порядочные средства, и теперь я желаю искупить помощью бедным... ошибки своей молодости. Вот почему мне и нужно, чтобы возле меня находились бедные, которым я могла бы помогать. Я надеялась, что в этой очаровательной местности найду обычную смесь благосостояния и бедности. Тогда без всяких колебаний я приобрела бы эту живописную усадьбу. Но раз, как вы утверждаете, здесь нет поблизости бедных, то мне, к сожалению, придется поискать в другом месте...

— Но, миледи! — в отчаянии воскликнул мой кузен, — этот пробел нетрудно пополнить: в нашем городе сколько угодно бедных, и если вам необходимо...

— Ах, нет, мистер Браун, это не то! — возразила дама. — Ездить так далеко мне неудобно. Нужно, чтобы бедные находились всегда у меня под рукой. Найдите какой-нибудь более удобный выход.

Мой кузен принялся ломать себе голову, чтобы уладить это дело: ему очень не хотелось упустить такую выгодную покупательницу. Вдруг у него блеснула удачная мысль, и он сказать:

— Выход есть, миледи. По ту сторону этой деревушки, которая почти примыкает к усадьбе, находится большой пустырь. Он немного сыроват, поэтому до сих пор и не заселен. Если вам угодно, на нем можно будет построить несколько хижин и поселить в них дюжины две бедняков. Вот они всегда и будут у вас под рукой. А так как там почва болотистая, то бедняки будут постоянно хворать, и вы получите возможность не только

содержать их, но и ухаживать за ними. Это будет вдвойне богоугодное дело.

Благотворительница задумалась, и по ее лицу было видно, что этот проект ей нравится. Мой кузен заметил это и принялся ковать железо, пока оно не остыло.

— Этим путем, — продолжал он, — вы можете выбрать бедняков вполне по вашему вкусу. Я, пожалуй, сам постараюсь подыскать таких, какие почище, поскромнее и поблагодарнее, так что вам не будет противно смотреть на них и иметь с ними дело.

Дама от души поблагодарила моего находчивого кузена за блестящую идею, вручила крупный задаток за усадьбу, подписала продажную и оставила ему список желательных для нее бедняков. Она наметила увечную старушку — предпочтительно англиканского исповедания; параличного старика; слепую девушку, которой нужно читать вслух; атеиста, согласного на обращение в лоно церкви; семейного пьяницу, которого можно было бы «исправлять»; старого забияку, с которым было бы побольше возни в целях его «укрощения»; два многодетных семейства и четыре пары мужей с женами, постоянно ссорившихся между собою, которых можно было бы мирить.

Исполняя поручение покупательницы, мой кузен долго находился в затруднении подыскать подходящего семейного пьяницу.

Все те, к которым он обращался, решительно отказывались быть объектами каких бы то ни было экспериментов над собою.

Наконец ему посчастливилось напасть на сговорчивого малого, который, узнав о сердобольных намерениях богатой филантропки, согласился занять предложенную ему вакансию, но с тем, чтобы ему можно было напиваться только раз в неделю. Он говорил, что чаще пока еще не может проделывать этого, потому что ровно шесть дней чувствует сильное отвращение к спиртным напиткам, но добавил, что, быть может, со временем попривыкнет и тогда постарается напиваться почаще.

Немало было хлопот моему кузену и со старым забиякой.

Главным образом, очень трудно оказалось установить настоящую степень забиячества. Большинство кандидатов на это амплу доходило до таких крайностей, что само олицетворение сердоболья с отвращением и ужасом отвернулось бы от них в первый же день знакомства. За неимением лучшего, мой кузен остановил свой выбор на бывшем извозчике, отличавшемся, между прочим, крайне антирелигиозными взглядами, и заключил с ним, по его требованию, трехлетний контракт.

В общем, затея богатой филантропки удалась как нельзя лучше и благополучно тянется до настоящего времени.

«Семейный» пьяница вполне вошел в свою роль, и в последнее время не проходит ни одного дня, в который бы не был бы до бесчувствия пьян.

Забияка тоже отлично исполняет принятую им на себя обязанность — испытывать терпение своей попечительницы: буянит всюду и держит в страхе весь поселок, соседнюю деревню и самую попечительницу в ее усадьбе.

Остальные действующие лица также оказались на высоте своих задач, так что играющая в благотворительность филантропка очень довольна ими.

Поэтому смело можно сказать, что она этой игрой, довольно убыточной и крайне беспокойной, непременно достигнет своей цели — искупления грехов молодости. Весь персонал бедняков тоже очень доволен самоотверженными стараниями филантропки уладить их печальное существование и прозвал ее «леди великодушной».

Окончив этот рассказ, Браун встал, подошел к столу с закусками и хлопнул целый стакан виски, разбавленного, впрочем, наполовину водой. Лицо его свидетельствовало, что он чувствует себя вполне достойным этой награды за свой действительно оригинальный рассказ.

Тут снова поднял свой голос Мак-Шонесси.

— На этот сюжет и я знаю одну историю, — заявил он. — История эта происходила в одном тихоньком, мирном йоркширском селении, где люди живут в полном довольстве и жалуются только на мертвящую скуку. Но как-то раз эти стоячие воды были всколыхнуты появлением там нового, молодого, красивого и, вдобавок, холостого викария. Все местные невесты восторжеслись и окрылились приятными надеждами.

Но вскоре же оказалось, что молодой викарий совсем нечувствителен к обыкновенным женским чарам. Обладая очень серьезным для его лет характером, он однажды в разговоре с некоторыми из своих поклонниц высказал, что если когда и женится, то только на такой женщине, которая будет отличаться особенным состраданием и милосердием к бедным.

Невесты призадумались. Значит, одной миловидностью, нарядами и обольстительными улыбками трудно воздействовать на этого интересного жениха, а нужно брать игрою в благотворительность.

Однако поставить на сцену эту игру в той местности, где они жили, было тоже затруднительно, как в местности, только что описанной нам Брауном. Во всем обширном приходе имелся только один бедный бобыль, обитавший в полуразрушенной хибарке как раз возле церкви и обладавший несносным,

сварливым и грубым характером. И вот все пятнадцать невест (одиннадцать молодых девиц, три старые девы и средних лет вдовушка) были вынуждены выбрать жертвою своей внезапной жажды благотворения одного его.

Мисс Симмондс, одна из трех старых дев, первая надумала заняться этим бобылем и два раза в день ходила кормить его говяжьим бульоном. За нею пришла вдова с бутылкою портвейна и блюдом устриц.

В следующие дни стали являться к нему и остальные невесты, кто с жареными цыплятами и салатом, кто с вареньем и конфетами, кто с кофе и другими напитками, — словом, каждая приносила какие-нибудь деликатесы и лакомства.

Бобыль был в полнейшем недоумении. Он всегда получал от сердобольных прихожан подачки в виде черного хлеба, угольков, кусочка сахара, горсточку чая, и то не китайского, а из каких-нибудь «полезных для здоровья» трав, причем все эти подачки обыкновенно сопровождались длинными поучениями насчет того, что кто беден, тот, значит, заслужил свою бедность какими-нибудь особенными грехами.

Теперь же вдруг целых пятнадцать особ женского пола с утра до ночи принялись пичкать его всякими деликатесами, поить настоящим чаем, кофеем, дорогими винами, самым нежнейшим образом ухаживать за ним и притом без малейшей укоризны! Все это казалось ему каким-то чудом, Бог знает за что ниспосланным ему.

Но, как известно, люди при благоприятных обстоятельствах, в особенности, когда эти обстоятельства ими не заслужены, очень быстро избаловываются. То же самое случилось и с бобылем.

Отъевшись через месяц так, что с трудом мог пролезать в дверь своей хибарки, и видя, что все его благотворительницы одна перед другою так и юлят вокруг него и всячески стараются угодить ему, он возомнил себя «силою» и принялся распоряжаться своими благодетельницами, как служанками.

Он заставлял их убирать свою хибарку, готовить кушанье, какое ему хотелось, чинить белье и платье, которое они же дарили ему и которое он нарочно пачкал и рвал. Когда ему начинали надоедать их трескотня и шумная хлопотливость в его хибарке, он отправлял их в огород, состоявший из пары маленьких грядок, выпалывать ими же посаженные, по его указанию, овощи.

Невесты сначала сильно возмущались этим и даже стали было поговаривать о забастовке, но тут же смирились и продолжали еще ревностнее ухаживать за своим деспотом, чтобы не испортить затеянной ими игры в благотворительность.

Между тем предмет их благотворительности с каждым днем становился все привередливее, требовательнее и деспотичнее. Он посылал их в лавочку за табаком и сигарами с приказанием взять «побольше и получше».

Мисс Симмондс однажды поздно вечером он погнал даже в пивную за бутылкою «самого крепкого» пива. Старая дева сначала с негодованием объявила, что она сроду не была ни в одной пивной, но он так прикрикнул на нее, что она поспешила смириться и исполнить его приказание.

Невесты поочередно читали ему вслух в то время, когда он, сытый и пьяный, валялся на своем драном диване, и сначала, разумеется, выбирали разные душеспасительные вещи.

Но это вскоре ему надоело, и он не допуская возражения тоном объявил, что не желает больше слушать такой «дряни», годной для чтения только в детских школах, а он уж устарел для этого, и потребовал, чтобы ему читали переводы бульварных французских романов с разными «интересными» приключениями. Под угрозю лишиться возможности проявления своих сердобольных чувств, невестам пришлось согласиться и на это требование своего деспота.

Как-то раз он выразил желание выучиться играть на «музыке». Его нежные няньки тотчас же поспешили в складчину приобрести ему фисгармонию и принялись учить его пользоваться этим музыкальным инструментом. Но из этого, разумеется, ничего не вышло путного. Ученик первый вышел из терпения и, обозлившись, чуть было вдребезги не разнес дорогой, сравнительно, инструмент. Когда невестам удалось несколько успокоить своего деспота, он потребовал, чтобы они сами пели и играли ему.

Мисс Симмондс начала было наигрывать что-то классическое, но деспот стукнул кулаком по столу и грозно крикнул, что когда он желает слушать церковные гимны, то идет в церковь, а у себя дома хочет чего-нибудь веселенького, вроде, например, песенки «старой девы» или «она подмигнула мне глазком».

И бедная мисс Симмондс, бывшая сама старою девою, скрепя сердце, должна была исполнить и эту прихоть своего тирана.

Трудно сказать, до каких границ дошел бы деспотизм этого «временщика», если бы насмешливая судьба вдруг одним ударом не сверзила его с той высоты, на которую вознесла его для своей потехи.

Дело в том, что совсем неожиданно не только для ближайше заинтересованных лиц, но и для всего прихода, викарий вдруг взял да и женился на очень хорошенькой и очень умненькой странствующей артистке, которую увидел в местном театре и

сразу влюбился в нее. Потом он вышел в отставку, а вместе с тем и из духовного звания и увез куда-то далеко молодую жену. Говорили, что он и сам захотел сделаться артистом.

В день его венчания разочарованные благотворительницы все разом бросили своего бобыля. А когда он начал вяло проявлять свой «характер», его отправили в смиренный дом.

После истории Мак-Шонесси выступил Джефсон и тоже сделал попытку рассказать кое-что. Но его история не была интересна, потому что в ней трактовалось не о смешной доброте богатых к бедным, а о трогательной доброте бедных к бедным. А это нечто совсем другое, гораздо более сложное и трудное, требующее всесторонней разработки, что вовсе не входило в план нашей повести.

Что же касается самих бедных, то о них можно только сказать, что к ним как-то невольно относишься с таким же чувством, с каким смотришь на раненого солдата. Конечно, я говорю не о профессиональных нищих, а о тех скромных, молчаливых и терпеливых бедняках, которые мужественно и безропотно борются с нуждой, но не могут одолеть ее.

В постоянной борьбе человека с судьбою бедняк всегда стоит впереди. Бедняки в этой борьбе гибнут целыми массами, а мы с распущенными знаменами и оглушительною музыкою победно перешагиваем через их тела.

Трудно думать о них без того, чтобы не почувствовать хоть легкого стыда при мысли, что мы сами живем в безопасности и полном довольстве и безучастно смотрим, как эти бедняки принимают на себя все удары судьбы и молча гибнут. Судьба с своим жестоким лозунгом «победа сильным» и цивилизация с своим «спросом и предложением» ожесточенно оттесняют их назад. Они мужественно отстаивают каждый свой шаг, но, в конце концов, все-таки падают. А так как они падают без треска и шума, как и бились, то мы не можем признать их героями и стараемся даже забыть о них.

Однажды я видел старого бульдога, лежавшего на пороге небольшой лавочки в Нью-Кете. Он лежал совершенно спокойно и тихо и казался сонным; а так как он имел свойственный его породе свирепый вид, то никто не тревожил его. Входящая в лавку и выходящая из нее публика шагала через него, причем невольно задевала его и иногда довольно чувствительно. Получив удар ногою, бульдог начинал только немного чаще и усиленнее дышать.

Наконец один из проходивших мимо поскользнулся и, посмотрев себе под ноги, увидел большую лужу крови. Отыскивая глазами источник этой крови, он заметил, что она широкою

струею течет со ступеньки, на которой лежала собака. Прохожий поднялся к собаке и нагнулся над нею, чтобы посмотреть, что с нею. Она подняла на него тяжелые веки, и в ее тусклых глазах и в оскале зубов было выражение не то благодарности за участие, выраженной ей человеком, не то раздражение на то, что он лишний раз побеспокоил ее. Потом она снова склонила свою голову, глубоко вздохнула и протянула лапы.

Быстро собралась толпа любопытных. Мертвого бульдога перевернули на другой бок и только тут увидели, что у него в брюхе огромная рана, из которой хлестала кровь и вываливались внутренности. Содержатель лавочки показывал явившейся на место происшествия полиции, что собака лежала у него на пороге целый час и ни разу не издала ни одного звука, по которому можно было бы догадаться о ее страданиях.

Я знал бедняков, которые умирали так же молча, покорно и терпеливо, как этот бедный бульдог. Не тех, конечно, так сказать, декоративных бедняков, которых холят «милосердные» леди и сэры «добротворцы»; не тех, которые устраивают целые шествия со знаменами и кружками для сбора денег, и не тех, которые толпятся вокруг ваших котлов с супом для них и поют гимны на ваших вечерних собраниях, а о тех, о бедности которых вы и не знаете, пока не затрубят об этом газеты: о тех молчаливых, скрытных, гордых бедняках, которые просыпаются утром с тем, чтобы схватиться в ожесточенном бою с нуждой и мужественно биться с нею вплоть до темной ночи, и, в конце концов, все-таки, одолеваемые этим страшным врагом, безмолвно умирают в каком-нибудь смрадном логовище, крепко стиснув зубы и сжав посиневшие уста.

Я знал одного подростка-мальчика, когда жил в восточной части Лондона, как известно, населенной одними бедняками. Это был не из тех чистеньких, прилизанных, притворно скромных и притворно слащавых мальчиков, которые описываются в сборниках религиозно-нравственных рассказов. Выражался он, несмотря на свою юность, таким языком, что один возмущенный моралист чуть было не потащил его за это в ближайший полицейский участок.

Он жил с матерью и ее последним, пятимесячным больным ребенком в подвале, на повороте на Колт-стрит. Не могу с точностью сказать, что случилось с отцом этого семейства. Кажется, он был «обращен» и отправился в провинцию в качестве странствующего проповедника. Мальчик служил у кого-то на посылках и зарабатывал шесть шиллингов в неделю. Мать что-то шила и в «хорошие» дни зарабатывала десять пенсов, а иногда даже и целый шиллинг. К несчастью, она была так истощена

постоянными лишениями, что по временам сырые стены подвала казались ей пляшущими вокруг нее, а огонек грошовой лампочки уплывал куда-то далеко; а так как эти явления стали повторяться все чаще и чаще, то бедная женщина иногда по целым дням ровно ничего не зарабатывала.

Как-то раз ночью подвальные стены затеяли особенно бешеную пляску; казалось, они готовы были сорваться с места и понестись вихрем в воздушном пространстве, а огонек лампы яркою звездочкою пробил грязный, закопченный и покрытый плесенью потолок и устремился в небо. Женщина поняла, что ее шитью наступил конец. Она с трудом дотащилась до своего убогого ложа, вытянулась на нем и еле слышно шепнула помогавшему ей встревоженному сыну:

— Джим, поищи в середине тюфяка... найдешь там... в соломе два золотых. Я всю жизнь копила их... Хватит на мои похороны... И... ради Бога... Сынок... слышишь?.. позаботься... о... братишке... Слышишь?.. Не давай... его... на попечение... прихода.

— Не отдам, ма, — ответил мальчик.

— Поклянись... мне... что... никогда... не... бросишь...

Больше она не могла произнести ни слова.

Мальчик поклялся, что никогда, пока жив сам, не бросит своего братишку. Мать облегченно вздохнула, закрыла усталые глаза и с миром отошла в вечность.

Мальчик сдержал свою клятву. Он отыскал в тюфяке два золотых и устроил на них похороны матери. Потом сложил весь свой жалкий скарб на тележку и переселился в еще более дешевое помещение, — нечто вроде брошенной собачьей конуры, — за которое должен был платить по два шиллинга в неделю.

Полтора года он жил со своим братишкой в этой конуре. Каждое утро он, уходя на службу, относил ребенка в ясли, где и оставлял до вечера, когда, возвращаясь со службы, опять заходил за ним — нес к себе. В яслях с него брали четыре пенса в день, причем ребенку давалось немного молока. Следовательно, у мальчика на все остальное оставалось два шиллинга в неделю. Как он ухитрился существовать на такую ничтожную сумму — это до сих пор неразрешимая загадка для меня. Знаю только, что он обходился без всякой посторонней помощи и никогда никому даже не заикался о своих «стесненных обстоятельствах». Принеся домой братишку и покормив его, он целыми часами возился с ним, укладывал его спать, убаюкивая с нежностью любящей матери. По воскресным дням он носил его в общественный сад подышать чистым воздухом.

Однако, несмотря на все заботы старшего брата, малютка

через полтора года тихо угас. Узнав об этом, полицейский пристав очень строго отнесся к Джиму и сказал ему:

— Если бы вовремя обратились, куда следует, ваш маленький брат остался бы жив. Почему вы не обратились в комитет попечения о бедных?

— Потому что дал умирающей матери слово не отдавать братишку на попечение других, — ответил Джим.

Благодаря тому, что этот случай произошел в самый разгар так называемого «мертвого» сезона, когда газетам не о чем говорить, репортеры подхватили это событие и так его расписали, что Джим стал героем дня. Мягкосердечные люди принялись писать в редакции «открытые письма», в которых указывали, что в этом печальном инциденте — смерти ребенка от истощения — виновны и лендлорды, и правительство, и еще кто-то. Составились подписки в пользу Джима и, вообще, с ним носились целую неделю. За это время он получил столько, что мог открыть себе маленькую торговлю чем-то ходовым. Не случись через семь дней громкого процесса, отвлекшего от него общественное внимание, он, пожалуй, набрал бы и целое состояние, и тогда, вернее всего, быстро испортился бы, но, видно, судьба благоволила к нему, избавив его от этой опасности.

Я рассказал эту историю на смену Джефсона, и когда кончил, то оказалось, что уже час ночи, стало быть, слишком поздно приступить к литературному занятию. И мы разошлись.

Следующие наши собрания происходили на моем маленьком боте. Браун сначала сильно запротестовал было против такого места собрания. Он находил, что пока у нас «на руках» повесть, нам не следует ни на шаг двигаться из города.

Мак-Шонесси же, наоборот, находил, что лучше всего работать именно на чистом воздухе. Он говорил, что, разумеется, всего больше литературная фантазия может разыграться, когда человек, задумавший написать что-либо выдающееся, качается в гамаке, среди шепчущей листвы, под голубым небом, и на протяжении руки находится бокал замороженного кларета. Но за невозможностью обзавестись такой обстановкой, он охотно готов был удовольствоваться и плавучим домиком, но при условии, чтобы там было достаточное количество удобных кресел, виски, коньяку и лимонов.

Сам я не видел никакой причины, почему бы нельзя было сочинительствовать на боте так же успешно, как в доме. Джефсон был одного со мною и Мак-Шонесси мнения, поэтому было решено, что я устроюсь в своем боте и, когда все будет готово, извещу приятелей, которые и будут собраться туда в определенные дни. Тогда мы уж как следует примемся за дело.

Обзавелся я этим корабликом по инициативе Этельберты. Как-то раз летом мы с нею посетили одно знакомое семейство, проводившее жаркое время года на воде, и жена пришла в восторг от «речной дачи». Ей очень понравилось, что там все такое крохотное: каюты, кровати, кухня и, вообще, вся обстановка самых миниатюрных размеров.

— Ах, как бы мне хотелось пожить хоть месяц в такой речной дачке! Мне бы казалось, что мы с тобою — куклы и живем в кукольном домике, — мечтала вслух моя юная жена.

Я уже говорил, что Этельберта была еще очень молода, когда сделалась спутницею моей жизни. Благодаря этому, она никак не могла еще отделаться от пристрастия к куклам, блестящим кукольным нарядам и многооконным, крайне неудобно распланированным домикам, в которых живут куклы, или, по крайней мере, предполагаются живущими, так как они, по большей части, сидят на крышах этих домиков, свесив ножки над входною дверью, что, кстати сказать, всегда казалось мне очень неприличным для таких нарядных дамочек... Впрочем, я не знаток кукольного этикета, поэтому могу и ошибиться в обсуждении их нравов и привычек.

Зачастую, входя в женин будуарчик, оклеенный такими

обоями, один взгляд на которые мог бы заставить помешаться от ужаса убежденного эстета, я заставлял свою женушку сидящей на полу пред капельным кирпичным — разумеется, розового цвета — домиком, заключавшим в своих стенах две малюсенькие комнатки и микроскопическую кухню и с трясущимися от наслаждения руками перебирающей там крохотную утварь, которая вся была сделана как «настоящая», в чем именно и состояла ее притягательная прелесть в глазах Этельберты.

Быть может, я напрасно подвергаюсь риску быть обвиненным своей супругою в том, что высмеиваю ее за продолжительную и уже несвоевременную страсть к кукольному обиходу. Но разве не я сам помогал ей в приобретении и устройстве кукольного домика? Хорошо еще помню, как мы спорили с ней относительно цвета преддиванного коврика в гостиной. Этельберта находила, что коврик должен быть небесно-голубого цвета и непременно бархатный. Насчет бархата я был вполне согласен, но думал, что к цвету обоев лучше подойдет терракотовый цвет. Поразмыслив немного, Этельберта согласилась со мною, и мы вдвоем принялись отыскивать по магазинам нужный лоскуток бархата, что было довольно трудно, так как терракотовый цвет в то время был не в моде. Но все-таки нашли. Сфабрикованный нами коврик, действительно, как нельзя лучше гармонировал с обоями кукольной гостиной и придавал ей особенно «теплый», уютный вид. Но во внимание к тому, что Этельберте жаль было расстаться с мечтою о коврике небесно-голубого цвета, я предложил ей разостлать такой коврик в спальне пред кроваткою. Жена от радости захлопала в ладоши, поцеловала меня и побежала к своей подруге выпросить виденный у той клочок голубого бархата, который и раньше имела в виду.

Кроме кровати, в спальне была подвешена коечка для бэби. Но для прислуги совсем не было места, где бы она могла преклонить вечером свою усталую голову. Распланировывая домик, архитектор совсем упустил из вида необходимость устроить и для прислуги «свой угол»; это уж такая привычка у архитекторов, — всегда что-нибудь существенное забудут.

Помимо того, домик, подобно всем кукольным обиталищам, страдал и отсутствием внутренних дверей, так что если бы его жильцы были предоставлены самим себе и вздумали бы переходить из одного помещения в другое, то им пришлось бы проламывать потолки и лазить через них, а выбираться наружу и влезать назад в окно. Полагаю, этот способ передвижения по собственному дому стал бы казаться даже куклам чересчур уж неудобным и утомительным.

За вычетом этих изъянов, наш домик принадлежал к числу

тех, которые могли бы быть рекомендованы кукольными агентами в качестве «первосортного семейного» обиталища. Обстановка его прямо была великолепная. В спальне находился умывальничек с тазиком и кувшинчиком для воды, которую мы с Этельбертою наливали сами. Но это еще не все. Бывают кукольные домики, в которых вы можете найти даже мыльницу с прехорошеньким квадратиком душистого мыла, самого «экзотического» запаха, но не бывает полотенца. У нас же имелась даже и эта редкая роскошь, так что наши куклы могли не только умываться, но и обтираться.

В гостиной, на каминчике, стояли часики, которые тикали ровно столько времени, сколько их трясли. Там же помешалось пианино, около него столик, на котором стояла вазочка с цветами и лежала книга; за столиком находился диванчик с двумя креслицами по бокам, вдоль стен стояло несколько стульчиков, а на двух стенках висели картинки в рамках. Вообще, гостиная была на славу.

Но всего лучше была кухонька, снабженная всеми необходимыми в хозяйстве предметами: плиткою, которую можно было топить настоящими щепочками, — конечно, самыми миниатюрными, кастрюлечками со съёмными крышечками, сковородочками, котелочком и разного другою утварью, не исключая и утюжка с каточком для белья.

Интереснее всего было то, что плитку можно было топить и варить на ней суп из золотника мяса, полкартофелины и даже делать пудинг, так как и для него в плитке было устроено приспособление. Положим, каждый раз, когда мы принимались «готовить» в этой кухоньке, шел дым и летели искры, угрожавшие целости нашего некукольного имущества, что заставляло нас ограничиваться этой игрою лишь летом, когда можно было вынести наш домик куда-нибудь на открытое место. Впрочем, потом мы догадались, что можно ставить домик на кухонный — уже действительно настоящий очаг. Таким образом мы могли продолжать свою игру и зимою.

По совести говоря, я никогда не видел домика, который был бы так хорошо снабжен всеми мелочами, придающими жизни известный комфорт, как наш. Мы приобрели его уже населенным. «Папа», «мама», «бэби» и «служанка», — все скопом находились рассаженными на мебели в гостиной (служанка, впрочем, стояла, как и подобает особе ее положения; по-видимому, она дожидалась распоряжений своих господ), и нам оставалось только распределить всех по своему усмотрению. Все эти куклы были вполне прилично костюмированы, не то что обыкновенные, которые скрывают под своими пышными платьицами лоскуток

плохого коленкора, кое-как сшитый. На наших же куклах было надето все, что полагается у людей высшего круга, и притом все части их изысканного туалета могли быть свободно сняты и вновь надеты. Мне приходилось видеть кукол, довольно представительных по внешнему виду, но одежда их была к ним приклеена или даже прибита маленькими гвоздиками. Не желал бы я находиться в положении этих фигурок! Наше же кукольное семейство могло быть раздето в какие-нибудь пять минут, и притом без помощи горячей воды или ножа. Впрочем, они были гораздо лучше одетыми, чем раздетыми, так как обладали довольно тощими и плоскими фигурами, и без одежды трудно было различить, кто из них «папа», кто «мама» и кто «прислуга». Нетрудно было узнать только «бэби», потому что он был ровно вдвое меньше остальных. Для того, чтобы не перепутать трех кукол побольше и опасаясь, так сказать, семейных осложнений, мы при совершении кукольных туалетов принимали разного рода предосторожности.

Приобретя кукольный домик с его жильцами и всласть налюбовавшись на них, мы принялись размещать их в домике. Бэби на три четверти впихнули в коечку; последней четверти она не могла вместить, так как оказалась приспособленной для бэби еще меньших размеров. Это немножко разочаровало было нас, но мы утешились, решив завести себе другого бэби, более подходящего для коечки, а для уже имевшегося придумать другое применение, т. е. другую роль. Папу с мамой посадили на стульчики за стол, который собирались накрыть к обеду, но стульчики оказались слишком неустойчивы для них и повалились на бок. Так как заставлять кукол сидеть на диване во время обеда было неудобно, то Этельберта придала им пока сидячее положение на полу, подперев их сзади стульями.

«Прислугу» мы препроводили в кухню, где она с беспомощным видом прислонилась к плите, крепко прижимая к груди сунутую нами ей в руки половую щетку, а сами принялись «готовить обед».

Что же касается нашей «речной» или «плавучей» дачи, то мы с Этельбертою тут же, на обратном пути от наших знакомых, уже обзаведшихся ею, решили, что на следующее лето обязательно заведем и себе такую «дачку», только самую маленькую, чтобы совсем походила на игрушечную. На окнах будут снежно-белые занавески, а на гребне крыши должен развеяться веселенький флаг. Я могу по утрам работать на крыше — плоской и с балюстрадой вокруг, — защищенный от солнца навесом, между тем как Этельберта будет поливать розы и незабудки, которые будут расти у нас перед домом, или, вернее, перед каютой в

насыпных клумбах или прямо в горшках, а потом займется приготовлением печенья к чаю. Вечерами мы будем сидеть на палубе. Этельберта станет играть на гитаре. А когда это надоест, мы будем слушать соловьев.

Будучи еще молоды, мы воображаем, что лето состоит из одних солнечных дней и лунных ночей, что все время веют нежные зефиры и кругом цветут розы. Но когда мы становимся старше и нам надоест напрасное ожидание прорыва тяжелых свинцовых туч солнечным лучом, мы крепко затворяем окна и двери и, сидя перед веселым огоньком в камине, в сосредоточенном безмолвии прислушиваемся к порывам холодного восточного ветра и вздыхаем о том, что розы уже не цветут.

Я знал молодую сельскую девушку, которая всю зиму копила деньги на белое кисейное платье, чтобы покрасоваться в нем в день цветочной выставки. Но как раз в этот день шел дождь, так что она не решилась надеть свое белое и чересчур легкое платье, а надела прежнее темное. И во все это лето все праздничные дни были дождливые в холодные, так что бедняжке ни разу не пришлось покрасоваться в новом платье; оно так и осталось лежать в сундуке до следующего лета. Но и это лето тоже было почти сплошь холодное и сырое; а когда изредка выдавались ясные деньки, они были будничные, которыми девушка не могла воспользоваться. Только осенью выдалось одно удивительно ясное и теплое воскресенье. Девушка обрадовалась и поспешила достать свое белое платье. Но когда она его надела, то оказалось, что оно ей совсем не годится: стало чересчур узко и коротко, да к тому же сильно пожелтело и, вообще, слежалось так, что радость бедной девушки была испорчена.

Жизнь всегда несет с собой подобные сюрпризы. Вот еще пример. Жили-были когда-то молодая девушка и молодой человек, пламенно любившие друг друга. Но они оба были слишком бедны и не могли обвенчаться, а потому решили, что обождут, пока жених не накопит достаточно денег, чтобы было с чем начать хозяйство. Жених простился с невестой, покинул родину и отправился добывать деньги.

Прошло немало времени, потому что добывать честным трудом деньги — задача очень не легкая. И только в течение целого десятка лет ему удалось накопить столько, чтобы иметь возможность содержать семью.

Когда он вернулся на родину к своей невесте, то оказалось, что между ними все изменилось. Жизнерадостная молодая девушка успела превратиться в старую, кислую деву, злившуюся на жениха за то, что он так долго медлил, а он, с своей стороны,

был огорчен и раздосадован тем, что она встретила его слишком холодно после того, как он потратил столько времени и труда на то, чтобы вернуться к ней обеспеченным на всю их дальнейшую жизнь.

Больше часа просидели они по обе стороны стола, удивляясь, как они могли быть настолько глупы, чтобы так долго ждать и, вообще, находить что-то привлекательное друг в друге. Потом он встал, пожелал своей бывшей невесте «всего лучшего»; пожелала и она ему того же самого, и они расстались уж навсегда.

В детстве я читал дурную историю в том же роде.

Жили-были беззаботная стрекоза и хлопотливый муравей, и каждый по-своему относился к жизни. Стрекоза все приятное время года носилась с цветка на цветок, летала вперегонку с товарищами, сверкая на солнышке своими зелеными прозрачными крылышками, питалась сладкою росой с травинок и листочков, и о завтрашнем дне совсем не помышляла.

Но вот вдруг загнула жестокая зима. Оглянувшись вокруг, веселая стрекоза увидела, что ее друзья — цветы, все лежат мертвыми, и поняла, что ее собственный коротенький век должен идти к концу.

Тут она почувствовала радость по поводу того, что так счастливо провела свою жизнь и ничем не портила ее.

— Моя жизнь, — размышляла она, — была очень коротка, но я пользовалась ею как могла лучше, и была довольна. Я упивалась солнечным светом, носилась по мягким, теплым и ласковым воздушным волнам, весело играла среди пестрых, нежных, душистых цветов и свежей травы и спала под прохладными зелеными листочками. Я делала, как мне показано было матерью: летала и жужжала свои песенки. Теперь поблагодарю Творца за те солнечные дни, которые выпали на мою маленькую долю, и спокойно умру.

После этого она забралась под коричневый, покоробившийся от мороза лист и встретила свой конец с той покорной готовностью, с которой умирают все беззаботные стрекозы. Пролетавшая вблизи птичка осторожно подобрала ее и похоронила.

Увидев, как окончила свое существование стрекоза, муравей напыжился фарисейским самомнением и воскликнул:

— Как я благодарен Богу за то, что Он создал меня таким трудолюбивым и степенным, бережливым и предусмотрительным, а не похожим на эту глупую стрекозу! Пока она только и знала, что летала с цветка на цветок и всячески забавлялась, я все время провел в тяжелом труде, собирая себе пропитание на грядущую зиму. Вот она уже и умерла, а я затворюсь в своем теплом

гнездышке и буду есть все те лакомства, которые предусмотрительно набрал за лето.

Но пока муравей предавался своим самодовольным рассуждениям, пришел садовник с лопатой и одним взмахом разорил его жилище со всем, с таким трудом собранным, добром, оставив его самого умирать под развалинами.

Потом прилетела та самая сердобольная птичка, которая похоронила стрекозу. Она также осторожно и нежно подобрала мертвого муравья и предала его земле, а сама вспорхнула на ветку и запела песню, начинающуюся словами: «Собирайте розовые бутоны, пока еще не поздно!» Это была славная и мудрая песенка. Один человек, который был дружен с птицами и понимал их язык, записал эту песенку и напечатал, так что каждый может прочесть ее.

К несчастью, судьба является для нас суровою гувернанткой, несочувствующею нашему влечению к розовым бутонам, и как только мы потянемся к ним, она схватывает нас за руку, отбрасывает назад на пыльную дорогу и своим острым, резким голосом кричит: «Нечего вам тут хватать цветы: не про вас они! Ступайте назад на дорогу и идите куда вам нужно!»

И мы волей-неволей покоряемся судьбе, зная, что иначе она поведет нас так, что мы даже издали не увидим роз, или устроит так, что розы окажутся уже увядшими, не успев еще путем распуститься.

Пришлось и нам с Этельбертой испытать суровый произвол судьбы, которая не захотела, чтобы в следующее лето была у нас «речная дачка», хотя, как нарочно, это лето выдалось на редкость хорошее, но ограничилось обещанием, что позволит нам завести желаемую нами игрушку в то лето, если мы будем «паиньками» и накопим достаточно денег. И мы с Этельбертой, как настоящие дети, удовлетворялись этим обещанием и жили надеждою на его исполнение.

И действительно, только в третье лето нам удалось осуществить свою мечту; крохотный ботик был нами приобретен, и когда мы вернулись домой после этой покупки, жена поспешила спросить у отворявшей нам дверь служанки:

— Аменда, вы умеете плавать?

Не выразив ни малейшего любопытства по поводу такого странного вопроса, Аменда ответила:

— Нет, миссис. Моя подруга умела, да и та утонула.

— Так вам нужно выучиться и как можно скорее, — своим возбужденным голосом продолжала Этельберта, не обращая внимания на последние слова служанки. — Мы будем теперь жить не в городе, а среди реки в лодке.

Этельберте очень хотелось хоть чем-нибудь поразить или удивить Аменду, и она очень огорчилась, видя, что ей это не удастся. Она возлагала большие надежды на нашу новую затею. Однако и на этот раз девушка оставалась равнодушною, как камень.

— Хорошо, миссис, — повторяла она, но более жена ничего не могла добиться от нее.

Мне кажется, если бы мы объявили ей, что переселяемся на воздушный шар, она и тогда не повела бы бровью.

Странное явление!

Несмотря на всю свою почтительность к нам, Аменда как-то умела давать нам с Этельбертою чувствовать, что мы не что иное, как пара ребят, играющих в мужа и жену, и что она, Аменда, только мирволит нашей игре.

Аменда пробыла у нас пять лет, пока один молодой парень, носивший нам молоко, не накопил столько деньжонок, чтобы завести собственное дело, и не взял себе в жены эту, видимо, давно уж приглянувшуюся ему краснощекую девушку. Но ее отношение к нам за все это время ничуть не менялось. Даже когда у нас появился настоящий бэби и нас уже нельзя было больше не считать такими же «настоящими» супругами, она продолжала смотреть на нас так, словно мы все еще только играем в «папу» и «маму».

Незаметным образом она сумела внушить эту мысль и нашей бэби (это была девочка), судя по тому, что и она долго не хотела смотреть на нас как на взрослых, имеющих над нею известную власть. Она охотно позволяла нам возиться с собой, забавлять и люлюкать себя, но как только дело доходило до чего-нибудь существенного, вроде, например, купания, кормления и т. п., она всегда желала пользоваться услугами одной Аменды.

Бэби исполнилось уже три года, стало быть, и мы на столько же лет успели возмужать, но все-таки доверием своего ребенка все еще не пользовались. Так, например, Этельберта однажды сказала:

— Давай оденемся, Бэби (мы долго так звали дочку), и пойдем с тобой гулять.

— Нет, ма, — решительно возразила наша крошка, — Бэби пойдет с няней. С ма Бэби не пойдет. Ма не увидит... Бэби ясадка задавит.

Бедная Этельберта! Такое недоверие к ней обожаемой дочки положительно убивало ее.

Однако эти воспоминания не имеют ничего общего с тем, что я, собственно, хотел рассказать, и я знаю, что привычка перескакивать с предмета на предмет и постоянно отступать в

сторону очень непохвальна, но никак не могу воздержаться от нее. Извиняюсь перед читателем и обещаю теперь быть степеннее и последовательнее. Вернемся же к нашему плавучему обиталищу, которому суждено было сделаться арену нашей будущей литературной деятельности.

В описываемое время такие боты еще не достигали размеров миссисипских пароходов, но тот, который облюбовали себе мы, положительно поражал своими миниатюрными размерами.

Вначале именно лилипутские размеры этой «речной дачки» и были главным ее достоинством во мнении Этельберты. Перспектива стукаться головою о потолок при вставании с постели и иметь возможность одеваться только в гостиной — в спальне решительно не было места для этого — казалось ей верхом забавности. То обстоятельство, что ей придется подниматься на крышу, когда явится необходимость причесывать голову, меньше улыбалось моей маленькой женке, но по своему добродушию она постаралась взглянуть и на это неудобство сквозь розовые очки.

Что касается нашей Аменды, то она отнеслась к новой обстановке с обычным ей философским спокойствием. Когда ей объяснили, что предмет, ошибочно принятый было ею за маленький каток для белья, представляет собою ее будущую кровать, она заметила, что эта кровать очень удобна тем, что из нее нельзя вывалиться, по той причине, что некуда вывалиться. Увидев кухню, Аменда даже похвалила ее в том смысле, что если усесться посреди этой кухни, то с полным удобством можно, не двигаясь с места, доставать все и делать что нужно, потому что все находилось буквально «под рукою». Кроме того, Аменда находила большим преимуществом своего нового кухонного царства еще и то, что к ней туда никто уж не войдет — за недостатком места.

— Здесь мы вволю будем дышать свежим воздухом, Аменда, — между прочим сказала ей жена.

— Да, миссис, — как-то загадочно ответила наша служанка и больше ничего не прибавила.

Если бы мы и в самом деле могли «вволю дышать свежим воздухом», как мечтала Этельберта, представляя себе, что мы все время будем сидеть на открытой палубе, под ясным голубым небом, то, разумеется, со всеми неудобствами нашего «кукольного» жилища можно было бы примириться. На наше несчастье погода в это лето была такая, что из семи дней недели шесть обязательно были дождливые и ветреные, и мы, тоскливо глядя в «плачущие» окна, должны были радоваться хоть тому, что у нас над головою все же была какая ни на есть крыша.

И раньше и после мне приходилось видеть дурные лета и по собственному горькому опыту узнавать, как глуп тот, кто покидает Лондон в промежутке между первым мая и первым октября, потому что за городом в это время он ничего не увидит, кроме картин, напоминающих потоп, только в уменьшенном масштабе. Но никогда еще на моей памяти не было такого отвратительного лета, как то, в которое мы с женой переселились на «речную дачу».

На другое же утро после нашего переселения мы были разбужены лившим на нас сквозь открытое окно дождем и, вскочив, были вынуждены прежде всего подтереть образовавшиеся повсюду в «комнатах» лужи. Затопив плитку и приняв разные меры против новых наводнений, мы в довольно подавленном состоянии позавтракали. Потом я пытался засесть за работу, но барабанивший в это время в крышу град не давал сосредоточиться моим мыслям. На меня напало такое уныние, что лишь только прекратился град, я уговорил жену одеться потеплее, запастись зонтами и немножко прокатиться по реке. Вернувшись, мы переоделись, потому что были промочены насквозь, и сели обедать.

После обеда, к вечеру утихший было дождь захлестал с новой силой, и мы только и знали, что втроем бегали по всей «даче» с тряпками, губками, тазами и ведрами, ведя ожесточенную борьбу с проникавшими отовсюду водяными струями. Все принятые мною утром меры против наводнения оказались совершенно несостоятельными.

Ко времени чаепития наша гостиная — она же и столовая — эффектно освещалась огненными зигзагами почти непрерывно сверкавших молний. Вечер посвятили на вычерпыванье воды, залившей нашу «речную дачу» чуть не до самых окон, а потом часа два сидели в кухне перед огнем, грелись и сушились. В восемь часов поужинали, завернулись в ковры и вплоть до десяти, когда надо было ложиться спать, наслаждались оглушительными громовыми раскатами, воем и свистом разбушевавшегося ветра, шумом взбудораженной реки и приятным, возбуждающим сомнением в том, выдержит ли за ночь наша «дача» яростный напор разнуздавшихся стихий.

И так ежедневно, все по одной и той же программе. Соблазненные нашими сумасбродными уверениями, что провести у нас денек на реке все равно что пробыть в раю (конечно, мы давали эти уверения, находясь еще в городе и искренно убежденные, что говорим правду), к нам приезжали родственники и знакомые, люди в большинстве пожилые, избалованные у себя теплом и комфортом и с большим трудом соглашавшиеся

покидать свои благоустроенные жилища даже при самых благоприятных условиях. Они приезжали соблазненные светлыми утрами, которые иногда выдавались; но уж по дороге к нам гости подвергались капризам изменчивой погоды и являлись порядком подмоченными. Мы спешили размещать их по нашим коморкам, чтобы они могли обсушиться и переодеться в нашу одежду, которая была им узка и коротка.

Когда гости несколько приходили в себя, мы усаживали их в гостиной вокруг стола и принимались занимать фантастическими рассуждениями о том, сколько бы их ожидало удовольствий у нас, если бы погода была сносная. А когда эта интересная тема исчерпывалась до дна, мы все брали в руки газеты и, уткнувшись в них, дружно чихали и кашляли.

Лишь только собственная одежда посетителей оказывалась достаточно просушенною (мы с женой все время нашего пребывания на «речной даче» дышали испарениями сушащихся одежд), наши добрые родственники или знакомые упорно настаивали на своем желании тотчас же покинуть нас, и, невзирая на наши горячие (конечно, наружно) протесты, поспешно удирали домой, чтобы на пути снова превратиться в узлы мокрого платья и обуви.

Несколько дней спустя мы обыкновенно получали письма, в которых извещалось, что наши гости по возвращении домой слегли в постель, и что мы в случае печального исхода получим приглашение на похороны.

Единственным нашим развлечением и утешением в течение долгого заключения в плавучем домике было любоваться из окон на проплывавших по реке мимо нас в открытых лодочках любителей сильных ощущений и обсуждать те прелести, которым они подвергались во время этих «увеселительных» прогулок.

Утром эти люди (особенно много было их по воскресеньям, и все они в начале таких прогулок находились в самом радужном настроении, судя по тому, с каким веселым смехом и радостными кивками головы они показывали друг другу на клочки голубеющего среди туч неба) нарядными, сухими и оживленными поднимались вверх по реке, а вечером спускались по ней вниз неприглядными, угрюмыми, нахохлившимися мокрыми курицами.

Только одна чета из числа тех сотен, которые проплывали перед нашими глазами, всегда возвращалась такою же веселою и радостною, какою была утром.

Он, обвязав шляпу платком, чтобы не унес ветер, энергично работал веслами, а она, с непокрытою головою, звонко смеялась, глядя на него, и одною рукою управляла рулем, а другою держала

над головою зонтик, ежеминутно грозивший вывернуться наизнанку под напорами ветра.

Люди могут чувствовать себя хорошо на реке во время проливного дождя в двух лишь случаях (профессионалов оставляю в стороне, говорю исключительно о людях из «публики»): во-первых, в том состоянии, о котором не принято говорить в приличном обществе, а во-вторых — в силу особенно светлых и душевных свойств, которые ничем не могут быть омрачены.

Мне казалось, что к той молодой парочке, о которой идет речь, скорее можно отнести последнее, поэтому я всегда встречал и провожал ее низким поклоном, как достойную всякого почета по своей редкости среди нынешнего человечества.

Я убежден, что эта парочка — если только она до сих пор еще радуется земле своим присутствием на ее поверхности — выглядит такую же радостною и счастливою, как в описываемые мною дни.

Может быть, судьба была к ней особенно благосклонна, а может статься, напротив, оказалась очень суровою. Но, во всяком случае, эта парочка, по-моему, должна была быть счастливою, т. е., по крайней мере, чувствовать себя счастливою; а ведь именно в чувстве-то и вся сила.

Бывали минуты отдыха разъяренных стихий, и тогда мы с женою спешили выбраться на палубу, чтобы насладиться мимолетною улыбкою солнца.

Хороши были эти минуты вечером при заходе солнца, бросавшего нам свой лучезарный прощальный привет, которым оно как бы извинялось за невольное причиненное нам перед тем горе.

Западный горизонт окрашивался в радужные цвета, а тяжело дышавшая река загоралась золотом и пурпуром.

Воздух в это время был упоительный, и нам мечталось, что весь следующий день будет похож на этот чудный вечер.

Среди еще волнующихся речных струй резвились среброчешуйчатые рыбки, по окружавшим нас камышам шуршали разные другие водяные обитатели, волны мелодично плескались о борта нашей плавучей «дачки», а в прибрежных деревьях и кустарниках весело чирикали свои вечерние песенки птички.

Где-то вблизи обитал старый полевой дятел, который своим неугомонным трещаньем долго не давал никому заснуть.

Вначале наша Аменда вообразила, что это где-нибудь трещит старый будильник, и очень удивлялась, почему он трещит во всю ночь и отчего не смажут его маслом, чтобы он не скрипел так отчаянно.

Этот дятел имел обыкновение приступать к своей трещащей и

скрипучей деятельности всегда в то время, когда все порядочные птицы собирались укладываться спать. Это особенно выводило из себя семейство дроздов, имевших свою летнюю резиденцию недалеко от дупла дятла.

— Ну вот, не угодно ли, опять затрещал! — с негодованием пищала дроздиха, — И почему он не отрешится днем, если уж никак не может обойтись без этого?

Я немного понимаю птичий язык, и думаю, что довольно близко к подлиннику передаю смысл птичьих речей.

Немного спустя просыпались уже мирно заснувшие было дрозденята и поднимали испуганный писк. Дроздиха еще более волновалась и кричала своему супругу:

— Да что же ты не остановишь этого старого безобразника! Неужели ты думаешь, что наши бедные малюточки могут заснуть при таком шуме? Ведь это все равно как если бы мы жили в лесопилке!

Дрозд выставлял свою голову через край гнезда и просящим тоном обращался к дятлу:

— Эй, сосед! Не будешь ли ты настолько любезен, не замолчишь ли хоть на полчаса. А то моя жена жалуется, что никак не может укачать ребятишек.

— А ты бы лучше заставил свою жену попридержать ее крикливый клюв! — запальчиво отзывался старый дятел, по-видимому, не привыкший, чтобы его стесняли. — Сама же своим криком перебудит всех ребят, а потом сваливает на меня.

И он снова возобновлял свою трескотню. Тут вмешивалась в дело другая дроздиха.

— Его надо бы хорошенько проучить! — пищала она. — Будь я женщиной, непременно так бы и сделала. В самом деле, что за несносный сосед завелся! Всю ночь никому покоя не дает. Право, будь я женщиной, живо уладила бы его и прогнала бы отсюда.

Судя по ее пренебрежительному тону, можно было догадаться, что у нее перед тем было «объяснение» с супругом, кончившееся не по ее желанию.

— Вот и я то же самое говорю своему мужу, — продолжала первая дроздиха. — Но он и слышать ничего не хочет. Где ж ему побеспокоиться, когда дело идет о покое только его жены и детей, а не о его собственном! Сам он засыпает, как камень, под какой угодно шум.

— Ах, они все такие эгоисты! — чирикает вторая дроздиха. — Поверьте, и мой муж несколько не лучше. Лишь бы его не тревожили, а там пропадай хоть весь мир.

Я напряженно прислушивался, что скажет на эти дамские колкости сам дрозд, но ничего не услышал, кроме несшегося из

его гнезда искусственного птичьего храпения.

А между тем упрямый дятел трещал себе да трещал, несмотря на то, что теперь со всех сторон уж поднялись пискливые голоса негодующих дроздов и других дам пернатого царства. Всякий на месте этого бессовестного забияки обязательно устыдился бы и замолчал.

— Пусть меня съест кошка, если этот противный старикашка не воображает, что он тоже *поет*! — прорезает общий гам резкий голос воробья.

— Наверное, так! — подхватывает другой птичий голос. — Засунул себе что-нибудь в горло — вот и хрипит, воображая, что это очень приятно слушать.

Раздраженный сыпавшимися на его голову осуждениями, упреками и насмешками, дятел еще пуще начал «скандалить» и, назло всему соседству, перешел на такие тоны, которые напоминали звуки, издаваемые ржавою косою, когда ее «подправляют» стальным напильком.

Наконец в дело вмешался величественный старый ворон и грозно каркнул:

— Эй, ты, старый дурак! Если ты немедленно же не замолчишь, то я прилечу и насквозь проклюю твою дурацкую башку!

Это подействовало; с четверть часа царило полное безмолвие, но затем старая история началась сызнова и продолжалась вплоть до самого рассвета.

Браун и Мак-Шонесси явились к нам в субботу после полудня, в самый ливень, а Джефсон прислал по почте извещение, что может быть только поздно вечером. Поэтому, как только прибывшие пообсушились, Браун предложил заняться пока только втроем набросками темы для повести.

— Пусть, — говорил он, — каждый из нас сделает набросок. Потом мы их соличим и выберем лучший.

Мы так и сделали. Я теперь уж не помню, какого сорта были эти наброски, потому что их нет уже; помню лишь то, что когда дело дошло до выбора «лучшего», то каждый автор настаивал, чтобы лучшим был признан именно его набросок.

Едкая же критика, которой данный набросок подвергнулся со стороны двух остальных сотрудников, сделала то, что каждый из нас, с багровым лицом и пылающими, как уголья, глазами, молча рвал свое писанье в клочья. После этого мы несколько времени сидели, отвернувшись друг от друга, в красноречивом безмолвии попыхивая сигарами.

Когда я был еще очень молод, у меня было страстное стремление слышать мнение других о моих литературных трудах; теперь же я всячески избегаю этого. Если бы в те дни кто-нибудь сказал мне, что в какой-нибудь газетенке видел полстрочки отзыва обо мне, я обежал бы весь Лондон в поисках этой полстрочки; ныне же я, лишь только увижу целый столбец, озаглавленный моим именем, торопливо складываю газету и убираю ее куда-нибудь подальше, парализуя свое естественное любопытство прочесть этот столбец тем рассуждением, что не стоит, так как это может на несколько дней только вывести меня из моего душевного равновесия.

Во дни моей зеленой юности у меня был друг. Хотя у меня и после было немало друзей, но ни один из них не был для меня тем, чем был тот.

Это было потому, конечно, что мы тогда обитали в мире, который нам казался гораздо просторнее настоящего, вмещаая для нас больше радостей и горестей. В этом мире мы с ним сильнее любили, сильнее и ненавидели, чем потом, когда мир стал для нас теснее и мельче.

Мой друг также пламенел желанием быть критикуемым, и мы взялись обязывать друг друга в этом отношении. Мы еще не сознавали в то время, что, добиваясь обоюдной критики, в сущности, ищем одобрения.

Мы воображали себя настолько сильными, что будем в

состоянии вынести самую горькую правду. В начале битвы многие считают себя достаточно сильными, чтобы выдержать все грядущие удары.

Согласно взаимному уговору, мы усердно выискивали и указывали друг другу свои недостатки и ошибки, и это так заняло нас, что нам уж не оставалось времени сказать хоть слово в похвалу друг друга. Положим, мы и по принципу не стали бы хвалить друг друга, хотя в душе были очень высокого мнения друг о друге.

Но мы говорили себе: «Похвалить нас всегда найдутся люди, но лишь один искренний друг скажет правду», и добавляли: «Человек сам не видит своих промахов, поэтому должен быть очень благодарен, когда другой укажет ему на них, чтобы он мог избегать их повторения».

Узнав поближе мир, мы поняли ошибочность своих воззрений; но тогда было уже поздно исправлять беду.

Когда один из нас, бывало, напишет что-нибудь, то непременно прочтет другому и скажет:

— Ну, что ты об этом думаешь? Только, смотри, будь вполне откровенен, как следует быть другу.

Но это говорилось только языком. Про себя же просивший «откровенного» мнения думал: «Скажи мне, что ты находишь мое писание прекрасным», хотя бы на самом деле и не находил этого. Свет так жесток с теми, которым еще не удалось его покорить; благодаря этому наши молодые сердца уже сильно изранены, хотя мы и стараемся это скрыть.

Часто мы делаемся слабыми и малодушными, ведь никто не верит в нас, и в наши темные часы мы сами часто доходим до сомнения в себе.

«Ты — мой лучший друг. Ты знаешь, сколько труда я вложил в то, что праздным человеком может быть прочтено в полчаса. Скажи мне, друг, что это хорошо. Ободри меня немножко!»

Но друг, полный жажды критики, заменяющей в нашей цивилизации жестокость, был более откровенен, чем бы следовало.

Это вызывало досаду другого. Начиналась словесная перепалка, хотя и не ожесточенная до крайности, но все же довольно острая.

Однажды вечером мой друг прочитал мне написанную им театральную пьесу. В этом произведении было, действительно, много хорошего, даже возвышенного, но были и недостатки (ведь во многих произведениях, из тех, которые прославляются по всему свету, бывают недостатки).

Вот за них-то в своем «дружеском» усердии я и схватился,

чтобы высмеять всю пьесу. Будь я профессиональным критиком, то и тогда я не мог бы быть более едким и безжалостным.

Лишь только я умолк, высказавшись «до дна», мой друг вскочил, схватил со стола лежавшую предо мною свою рукопись и бросил ее в огонь.

Затем, бледный, как мертвец, подошел ко мне и, совершенно неожиданно для меня, в свою очередь, начал высказывать с полной откровенностью и свое истинное мнение не только о моем творчестве, но и обо мне самом.

Излишне добавлять, что после такого обмена наших обоюдных мнений мы расстались в сильном раздражении друг против друга.

Много лет мы не видались. Жизненные пути очень многолюдны, и когда двое выпускают друг друга из рук, живой поток быстро уносит их в разные стороны. Встретился я с моим бывшим лучшим другом потом, и то совершенно случайно.

Я шел домой из одного публичного собрания и с наслаждением вдыхал свежий (сравнительно, разумеется) лондонский ночной воздух.

В одном из скверов какой-то встречный остановил меня и проговорил:

— Мистер незнакомец... а может быть, и сэр... не будете ли вы настолько любезны одолжить мне огня?

Голос его звучал как-то особенно странно. Я зажег спичку и, заслоняя ее рукою, поднес просителю. Слабый огонек осветил знакомое мне лицо, и я с криком «Херри!» невольно отскочил назад, при чем спичка потухла.

— А! — с сухим, коротким смешком прохрипел он. — Я не знал, что это вы, иначе, разумеется, не остановил бы вас.

— Что это с тобой случилось, старый друг? — продолжал я, положив ему на плечо свою дрожащую от волнения руку. — Как дошел ты до такого состояния?

Его одежда была насквозь пропитана липкою грязью, так что я машинально отдернул назад руку и вытер ее носовым платком.

— Ах, это длинная история и слишком обыденная, чтобы стоило ее рассказывать! — небрежно отозвался он. — Одни поднимаются, другие опускаются; так всегда было, есть и будет... Насколько я слышал, вы — из поднимающихся? Говорят, хорошо устроились...

— Да как сказать? — в тон ему ответил я. — Пожалуй, на несколько футов мне удалось вскарабкаться на призовой шест, а поднимусь ли выше — неизвестно... Однако не во мне дело.

— Я хотел бы знать, что с тобой... с вами, — поправился я, заметив, что он избегает прежнего дружеского личного

местоимения по отношению ко мне. — Не могу ли я быть полезным чем-нибудь?

В это время мы проходили под газовым фонарем. Мой спутник приблизил свое лицо к моему, и озаривший его свет с безжалостною ясностью обрисовал страшную перемену, происшедшую в этом лице.

— Разве я похож на человека, которому можно чем-нибудь помочь? — саркастически спросил он с усвоенным им неприятным, сухим, коротким и хрипловатым смешком.

Я молчал, тщетно отыскивая в уме такие слова, которые могли бы вызвать его на откровенность.

— Не трудитесь беспокоиться обо мне, — продолжал он. — Я ведь не жалуясь вам. Там, где я теперь обретаюсь, на жизнь смотрят очень легко и не страдают разочарованиями.

— Зачем же вы так малодушно сдались в жизненном бою?! — досадливо вырвалось у меня. — У вас был несомненный талант. Будь вы поупорнее, вы достигли бы...

— Того же, чего достигли вы? — договорил он. — Может быть. Но для этого мне кое-чего не хватало... Не хватало веры других в мои способности, так что, в конце концов, я сам стал сомневаться в себе. А когда человек начинает сомневаться в своих силах, — это все равно что когда из воздушного шара утекает газ.

— Не хватало веры других?! — удивленный и негодующий воскликнул я. — Да я первый всегда верил в вас, и вы должны были это знать. Я...

Но тут я замялся, вспомнив нашу обоюдную «дружескую» критику друг друга, которая была так беспощадна, особенно с моей стороны.

— Разве так? — с искусственным спокойствием спросил он. — Нет, я этого не знал. Вы никогда не обмолвились об этом ни одним словом... Покойной ночи, сэр!

С этим саркастическим пожеланием он вдруг юркнул от меня в какой-то темный закоулок, мгновенно скрывший его из моих глаз. Я поспешил за ним, окликая его и умоляя вернуться. Еще несколько времени я слышал его торопливо удаляющиеся шаги, потом они затерялись среди гула других шагов. Увидев полицейского, стоявшего на углу, я обратился к нему с расспросами.

— Какой он наружности, сэр? — со своей стороны осведомился полицейский, выслушав меня.

— Высокого роста, очень худой, в сильно поношенной... вообще, неприглядной одежде, так что он легко может быть принят за бродягу.

— О, таких здесь живут целые тысячи, и вам нелегко будет

отыскать нужного человека по одним этим приметам, — резонно заметил полицейский.

С тех пор мы более не встречались.

Продолжая путь домой, я размышлял над вопросом: стоит ли Искусство — даже с прописной буквой — всех тех страданий, которым подвергаются из-за него люди? Неужели само оно или его «жрецы» выигрывают от всей той злобы, зависти, ненависти, всякого рода несправедливостей, интриг и подвохов, — словом, от всего того дурного, что делается во имя его?..

Джефсон пожаловал к нам в девять часов, на пароме. Факт его прибытия ознаменовался тем, что мы треснули лбами о стену. Мы всегда имели удовольствие тыкаться лбами в стену, когда к нашей «речной даче» причаливал плот, — удивительно громоздкое и неуклюжее сооружение, обслуживаемое к тому же соответствующе неловким малым, который хотя и сознавал свои недостатки, — что делало ему честь, — но не имел ни малейшего желания позаботиться об их исправлении, что было очень не похвально с его стороны. Его метод управления плотом состоял в том, что он направлял его прямо носом к намеченной цели и пускал, так сказать, наудалую, нисколько не обращая внимания на то, что делалось сзади него или по сторонам, пока вдруг что-нибудь не останавливало плота: большие лодки, пароходы, баржи, а иногда отмели, на которые он садился плашмя, с явным намерением основательно отдохнуть. То обстоятельство, что этому образцово неумелому плотовщику ни разу не удалось превратить наше речное обиталище в груды щепок, свидетельствует о высокой степени добросовестности его строителя, а никак не о недостатке у плотовщика старания в этом направлении.

Как-то раз плот налетел на нас с такою энергией, что проходившая в это время по палубе Аменда сначала стукнулась головой об одну сторону перегородки, а потом о другую, причем у стукнувшейся вздулись две огромные, симметрично расположенные шишки. По одной шишке Аменда уже привыкла получать при соприкосновении плота с нашим речным обиталищем и смотрела на это как на некоторого рода своеобразное приветствие по ее адресу со стороны плотовщика. Две же шишки за раз показались ей слишком уже грубою фамильярностью, и она, бомбою влетев на плот, закатила плотовщику две здоровенные оплеухи, сначала в одну щеку, потом в другую, в том же порядке, в каком получила сама «приветственные» шишки.

— Ты что же это?! — кричала она пронзительнейшим голосом. — Совсем уж с ума спятил?! Совсем разучился по-

людски причаливать!.. И за каким лешим тебя опять принесло сюда?

— Ни за каким, — лепетал оторопевший парень, потирая руками побагровевшие щеки. — Я только привез сюда одного сэра... А с лешими никаких дел не имею.

— Сэра? — более миролюбиво проговорила Аменда оглядываясь. — А где же этот твой сэра?.. Какой он из себя?

— Высокий такой, в соломенной шляпе, — покорно отвечал плотовщик, испуганно тараща глаза на разгневанную красавицу, относившуюся к нему с видимым недоверием.

— Ну да куда же он делся? — приставала Аменда.

— Н-не знаю, — протянул парень, в свою очередь с недоумением оглядываясь вокруг. — Он стоял вон там, на корме, и курил сигару, а куда потом делся — право, не знаю.

В это мгновенье в волнах реки показалась чья-то голова, но без шляпы, а вслед за тем — и вся фигура ловкого, искусного пловца, делавшего отчаянные усилия, чтобы не быть смятым между плотом и ботом.

— А вот он где! — с искренней радостью вскричал плотовщик, указывая пальцем на пловца. — Должно быть, скувырнулся в воду, — добавил он, радуясь своей догадливости.

— Совершенно верно: я «скувырнулся» в воду... И вот тебе награда за то, что ты так хорошо помог мне скувырнуться! — раздался глухой от сдержанного бешенства голос невольного пловца, одного из моих приятелей, вскарабкавшегося, наконец, на плот.

«Наградой», обещанной моим приятелем плотовщику, оказались две новые, еще более основательные оплеухи, которые он, весь в струях воды, нанес ему своей мощной дланью.

— Вот, вот, так ему и надо, сэра! — одобряла злорадствующая Аменда эту операцию. — От меня он получил только закуску, а ваша рука, сэра, накормила его уж досыта.

Я видел всю эту сцену и был очень доволен, что Джемса (так звали плотовщика) наконец так славно угостили. Я сам давно уже собирался сделать это, но по своей лени все никак не мог собраться.

Нужно вам сказать, что глупее и тупее Джемса трудно было найти человека; зато он был очень добродушен и усерден — по-своему, конечно, так что его усердие часто оказывалось хуже всякой небрежности.

Наше ближайшее знакомство с ним началось с того самого дня, когда мы переселились на «дачу». Пришла его мать, бедная вдова, и предложила нам услуги своего сына.

— Пожалуйте ему хоть шесть пенсиков в неделю, и он вам

вот как будет стараться за это, — уверяла она.

Мы с большой охотой согласились принять услуги сына вдовы, очень симпатичной женщины и, по-видимому, дельной, каким, по нашему мнению, должен был быть и ее отпрыск. Когда последний на другое же утро явился к нам, мы представили его Аменде и сказали:

— Вот вам, Аменда, помощник. Он будет являться в семь утра, прихватив с собой булки, молоко и письма, а потом, до девяти, когда он должен возить сюда пассажиров, станет делать все, на что вы ему укажете.

— Хорошо, — равнодушно ответила Аменда.

После этого, когда какой-нибудь особенно сильный треск или какое-нибудь «бумканье» заставляли нас испуганно вскакивать с мест и тревожно осведомляться, что случилось, Аменда коротко и хладнокровно докладывала:

— Это Джемс помогает мне.

Что бы Джемс ни брал в руки, он обязательно сейчас же ронял это, к чему бы ни приближался, если только это не было твердо укрепленным предметом, — все непременно опрокидывалось; а если это было что-либо устойчивое, то сшибало с ног его самого. Насколько мне известно, он ни разу не донес до места ведра воды без того, чтобы не пролить половину или не кокнуть обо что-нибудь так, что превращал этот предмет в нечто уродливое и никуда не годное.

Одною из обязанностей, наложенных на него Амендою, была, между прочим, поливка цветов, расставленных на крыше, или, точнее, на палубе нашей «дачи» прямо в горшках. К счастью для цветов, лето было, как я уже говорил, особенно дождливое; не будь этого, наши цветы, порученные заботе Джемса, никогда не получили бы ни одной капли воды. Джемс очень усердно старался их напоить, но никогда не достигал этой благой цели. Обыкновенно он уж по пути к ним проливал всю воду, которую нес, что было еще не так важно, потому что при этом вода просто отправлялась назад в реку, откуда была взята, и никому не причиняла неудобств, в особенности во время дождя (он «поливал» цветы и в это время), но вот когда он, почти уж достигнув «крыши» по ведущей на нее лестнице, опрокидывал ведро, то вода проникала сквозь стены в комнатки, и нам доставался душ, к которому мы совсем не были подготовлены. Один раз он даже благополучно взобрался было на самую «крышу», но тут случилось с ним что-то такое таинственное, чего нам до сих пор не удалось выяснить. Выбежав на палубу, привлеченные каким-то страшным грохотом, мы нашли Джемса лежащим без чувств внизу лестницы с опрокинутым на нем

ведром и облитым водой. Мы подняли его, привели в себя, но не могли добиться от него, что именно с ним приключилось. Он ничего не помнил. Мы остановились на том предположении, что он, возгордившись чем-нибудь, много возмечтал о себе и захотел уже выкинуть нечто особенно геройское. Аменда констатировала при этом грустном событии тот факт, что в кухонную печную трубу вдруг полилась вода и загасила горевший на очаге огонь.

Когда нечего было портить, Джемс страшно волновался; очевидно, эти исключительные минуты составляли большой пробел в его жизни. Свой переход с плота к нам или обратно он редко совершал общепринятым способом, но больше всего головою вперед, а ногами в воздухе, потому что либо запутывался в канатах и цепях, либо спотыкался обо что-нибудь и падал.

Аменда каждую минуту стыдила его за то, что он «такой незадачник» у своей матери, которая, по мнению Аменды, должна была презирать самое себя, имея сыном такого «оболтуса». Но он на это нисколько не обижался, а лишь виновато оправдывался тем, что «такой уже уродился, и ничего не могу с этим поделать». Вообще, он отличался столько же простодушием и незлобивостью, сколько глупостью; последняя была у него прямо феноменальная.

Однажды утром он обратился ко мне с вопросом:

— Говорят, к нам идет комета. Правда это, сэр?

— Уж и пришла, — ответил я. — Разве вы еще не видали ее?

— Нет, сэр, не видал. Неужто уж пришла?

— Пришла, пришла. Если хотите увидеть ее, поглядите ночью. Стоит посмотреть.

— Очень хотелось бы поглядеть. Говорят, у нее огромный хвостище. Верно и это, сэр?

— Да, очень большой и красивый.

— А куда мне идти смотреть ее, сэр?

— Никуда не нужно идти, а просто выйдите в девять часов вечера в палисадник своей матери, оттуда и увидите комету.

Поблагодарив меня за данные ему сведения, он споткнулся о мешок с картофелем, им же в это утро привезенным с рынка, перекувырнулся через него и таким способом переправился на свой плот.

На следующее утро я спросил его, видел ли он комету.

— Нет, сэр, не видал.

— Да смотрели вы?

— Еще как смотрел-то, сэр! Но увидеть ее не мог.

— Странно! Как же вы могли не увидеть кометы? Ночь была такая ясная, и комету легко можно было видеть... А где вы смотрели?

— В мамашинном палисаднике, как вы сказали, сэр.

— Уж не под кустами ли ты ее искал? — вмешалась Аменда, случайно присутствовавшая при этой беседе.

— И под кустами, и под деревьями — во всех уголках, — с полной наивностью ответил Джемс.

Но высшую степень своей наивности он проявил недели три позднее. Помнится мне, это было в пятницу. У нас гостил Мак-Шонесси и в этот вечер угощал нас салатом, приготовленным по рецепту его тетки. Благодаря этому салату, мы, как водится, в субботу утром чувствовали себя очень скверно. Люди, отведавшие чего-нибудь, приготовленного по рецептам Мак-Шонесси и его тетки, всегда хворали, и объясняли это естественною связью между причиною и последствием. Но мой приятель видел в этом одно простое совпадение.

— Почему вы знаете, что не прихворнули бы и без этой еды? — возражал он. — Вижу, что вам плохо, и очень жалею вас, но думаю, что, если вы бы не поели того, что я вам предложил, вам, наверное, было бы еще хуже. Может быть, вы и умерли бы. Поэтому я полагаю, что даже спас вам жизнь.

И он глядел так, словно и в самом деле спас нас от смертельной опасности.

Как только в семь утра явился Джемс, я сказал ему:

— Вот что, миляга, плывите скорее, нигде не останавливаясь и ни с кем не пускаясь в лишние разговоры, в ближайшую к берегу аптеку и попросите там чего-нибудь против отравления растительным ядом. Чего-нибудь посильнее, и чтобы хватило на четверых. Главное — не забудьте сказать, что средства нужно против отравления растительным ядом, понимаете?.. Ну, с Богом! Старайтесь вернуться как можно скорее.

Мое волнение сообщилось и Джемсу. Он сломя голову перевалился назад на свой плот и усердно заработал веслами. Я проследил его глазами до противоположного берега, видел, как он там причалил, как соскочил с плота и как со всех ног бросился бежать по улице тамошнего большого селения.

Прошло полчаса, но Джемс не возвращался. Мы хотели было сами отправиться вслед за ним, но все так ослабли, что не были в состоянии двинуться с места, и только охали и стонали. Через час мы почувствовали себя лучше а еще через полчаса даже радовались, что наш посланный не вернулся с каким-нибудь противным снадобьем. Но теперь нас одолевало любопытство узнать, что с ним случилось.

Вечером, пользуясь отдыхом дурной погоды, мы направили свой плавучий дом к противоположному берегу и вышли прогуляться по селению. Дойдя до хижины матери Джемса, мы

увидели его сидящим на крыльце. Закутанный в большой теплый платок, бедняга был очень бледен и весь дрожал.

— Что с вами, Джемс? — осведомился я. — Почему вы не возвратились к нам поутру?

— Простите, сэр, — пробормотал больной, стараясь подняться с места, чему мы, однако, воспрепятствовали, видя, как ему это трудно. — Я никак не мог... Очень уж сделалось мне скверно, и мамаша уложила меня в постель... Здорово разобрало меня, сэр.

— Да отчего же это вас вдруг так «разобрало»? — недоумевал я. — Ведь утром вы были совершенно здоровы.

— Очень уж лютое средство дал мне мистер Джонс. С вашего позволения сказать, все кишки вывернуло было у меня... Уж вы простите меня, сэр...

Я начал понимать, в чем дело.

— А о чем просили вы мистера Джонса? — продолжал я.

— Я просил его, как вы приказали мне, сэр, дать мне чего-нибудь по сильнее против растительности, которою отравляются. И я сказал, чтобы достало на четверых...

— Ну, а что сказал вам аптекарь?

— Он сказал, что вы слишком много назначили, и что мне довольно бы и одной порции. Потом спросил меня, не объелся ли я зелеными яблоками. А я и вправду съел утром, как только встал, пару этих яблок, и у меня поднялась было резь в животе... Знать, вы, сэр, сразу угадали... Пошли вам Господи здоровья за то, что вы пожалели меня...

— Ладно, ладно, Джемс, — прервал я его излияния. — Что было дальше?

— Мистер Джонс хотел дать мне непременно одну только порцию, а я, помня ваши наставления, сэр, заставил его дать четыре. Ну, вот, он и налил мне чего-то шипучего в пузырек. А я как только вышел из аптеки, так и выпил весь пузырек. Потом еле добрел до дому... Что было со мною — страсть! Мамаша, как увидела это, так сейчас же уложила меня в постель и дала мне какой-то крепкой настойки... Мамаши сейчас нет, а то она рассказала бы вам...

— Мы верим и вам, — перебил я. — Слава Богу, что вам все-таки помогло. Разве вы не знаете, что от незрелых яблок можно умереть? Я заметил, что у вас началась резь в животе и что это может кончиться очень худо, если не принять сильных мер, поэтому и велел вам спросить порцию сразу на четверых; а одна порция при вашем крепком телосложении могла и не помочь вам, — бессовестно лгал я.

Нельзя же мне было говорить правду; ведь она сразу могла

убить этого недалекого человека по свойственным людям его сорта психическим особенностям. К счастью, все обошлось благополучно, и на другое утро он опять был здоровым и веселым, как всегда.

Когда я рассказывал этот случай людям, не знавшим Джемса, они мне не верили, думая, что я преувеличиваю; но узнававшие его лично вполне убеждались в моей правдивости.

Но вернемся к Джефсону, прибытие которого развеселило нас. Джефсон всегда чувствовал себя хорошо, когда вокруг него было скверно. Он был не из тех, которые только стараются показывать веселый вид в то время, как у них на сердце скребут кошки, а на него все обыденные житейские неприятности и неудачи действовали прямо поджигающим и увеселяющим образом. Многие из нас способны относиться с юмором к своим уже *прошедшим* невзгодам, Джефсон же обладал той сильной философской жилкой, которая позволяет человеку чувствовать своеобразное удовольствие во время самого проявления невзгод. Так, например, в этот вечер он явился к нам насквозь промокшим, но в самом веселом настроении оттого, что для его визита выдалась такая отвратительная погода.

Под его согревающим влиянием наши угрюмые, насупленные лица быстро прояснились, и мы сели за ужин с полным аппетитом, чего до прибытия Джефсона никак нельзя было ожидать.

После ужина мы даже вышли на палубу и уселись там, чтобы полюбоваться на изредка сверкавшие молнии удаляющейся грозы. Ливень прекратился, словно обескураженный нашим равнодушным отношением к его присутствию. Одна половина неба, — та, куда унеслась от нас гроза, — была покрыта совершенно черною тучей, которая, в соединении с бороздившими ее зигзагами ослепительной молнии, и навела нас на тему о мрачных и таинственных сторонах жизни. Каждый из нас извлекал из архива своей памяти соответствующую историю; самое сильное впечатление произвела история, рассказанная Джефсоном.

Сначала я рассказал один странный случай, приключившийся со мною самим. Дело было в том, что я однажды утром встретился на Странде с человеком, которого хорошо знал, но уже несколько лет не видал. Мы вместе с ним дошли до Черинг-Кросса, потом обменялись рукопожатиями и расстались. На другой день я сообщил об этой встрече одному из наших с тем человеком обоюдных друзей, и, к своему немалому удивлению, услышал, что тот человек умер с полгода тому назад.

Я готов был уверить самого себя, что принял за своего

знакомому совершенно чужое, только очень похожее на него, лицо. Это может случиться, в особенности, если между предшествующею и данною встречей прошло несколько лет, в течение которых лица до известной степени меняются; но остается непонятным, почему тот, чужой, также отнесся ко мне, как к старому знакомому, и в разговоре со мной ничем не дал мне заметить, что я ошибся, приняв его за другого.

Лишь только я окончил, Джефсон, все время слушавший очень внимательно и с задумчивым взглядом, спросил меня, верю ли я в спиритуализм в полном его объеме.

— Что ты подразумеваешь под словами «в полном объеме»? — осведомился я.

— Ну, я иначе формулирую свой вопрос, — сказал Джефсон. — Я спрошу тебя: веришь ли ты, что духи отошедших от нас людей могут не только вновь возвращаться на землю по своему желанию, но и вступать в действие и, мало того, даже приводить в действие неодушевленные предметы? Поясню свой вопрос примером. У меня был знакомый спиритуалист, человек умный и вполне уравновешенный. Он рассказал мне, что однажды стол, посредством которого он сообщался со своим умершим другом, сильным напором прижал его к стене. Можешь ты поверить этому?

— Я могу, — подхватил Браун, — в особенности, если хорошо знаю характер лиц, дающих такие сообщения. Ведь некоторым может только показаться то, что с другими случается в действительности. В общем я нахожу, что разница между тем, что мы привыкли называть *естественным* и *сверхъестественным*, зависит лишь от того, что первое — все обыденное, постоянно совершающееся вокруг нас и в самих нас, а второе является как исключение. *Суть* же дела, по-видимому, в том, что один обычный порядок законов естества нам хорошо известен, а другой — по всей вероятности, высший, — все еще ускользает от нашего понимания.

— Что касается меня, — заговорил Мак-Шонесси, — то я готов несколько не сомневаться в *способности* духа проделывать все, что ему приписывается компетентными людьми, но не могу поверить, чтобы он делал это *охотно*, по собственной воле.

— То есть, другими словами, — добавил со своей стороны Джефсон, — ты не в состоянии понять, чтобы дух, освобожденный от всех так называемых «общественных обязанностей», мог находить удовольствие в пустом ребяческом препровождении времени с самыми дюжинными людьми, вызывающими его к себе часто только из одного праздного любопытства?

— Да, ты вполне угадал мою мысль, — подтвердил Мак-

Шонесси.

— Не могу понять этого и я, — продолжал Джефсон. — Но оставим этот вопрос в стороне. Я имел в виду нечто совсем другое. Представь себе, что кто-нибудь умер, не успев выполнить своего самого заветного желания. Веришь ли ты, что его дух может вернуться на землю, чтобы довершить невыполненное?

— Отчего же нет? — сказал Мак-Шонесси. — Все *осмысленное* я свободно могу связать с своим представлением о духе; только не фокусы для скучающей салонной публики... Но к чему ты ведешь, Джефсон?

— Вот к чему, — проговорил Джефсон, садясь верхом на стул и облакачиваясь руками на его спинку. — Сегодня поутру один старый французский врач рассказал мне интересную историю. Сами по себе сообщенные им факты очень просты и обыденны, и желающие могут прочесть о них в парижских газетах, вышедших в свет шестьдесят два года назад. Самое главное в этой истории заключается в том, чего и в свое время никто не мог узнать.

История эта начинается с большой несправедливости, причиненной одним человеком другому. В чем именно было дело — не знаю, но склонен думать, что там была замешана женщина. Полагаю так потому, что тот, кому была нанесена обида, ненавидел своего обидчика такою ярою ненавистью, какая редко горит в мужском сердце, если она не раздувается дыханием женщины. Но это одно лишь предположение, так как, повторяю, суть дела неизвестна.

Обидчик бежал, а обиженный последовал за ним. Первый бежал днем раньше, что, разумеется, было для него большим преимуществом. Началась настоящая бешеная скачка. Ареною этой скачки был весь мир, а призом — жизнь обидчика.

В то время люди мало путешествовали, и благодаря этому было нетрудно держаться по чьим-нибудь намеченным следам. Обидчик, никогда не знавший, насколько близко или далеко от него обиженный (о том, что обиженный бросился за ним в погоню, обидчик знал), и думавший, что тот, быть может, сбился уж со следов, временами останавливался в пути на отдых. Обиженный же, отлично знавший, на каком расстоянии должен быть от него обидчик, мчался безостановочно. Таким образом тот, которого подгоняла ненависть, с каждым днем придвигался ближе к тому, которого подгонял страх.

Попав в известный город или местечко, обиженный навел справки об обидчике, выдавая его за своего друга, которого непременно должен догнать, и получал в ответ:

— Выехал отсюда вчера вечером в семь часов.

— В семь? Значит, восемнадцать часов разницы... Дайте мне

поскорее, пока меняют лошадей, чего-нибудь поесть.

Слово «выехал» оставалось неизменным в ответах расспрашиваемых; менялись только часы.

На другой день оказалось шестнадцать часов разницы. Проезжая мимо одинокого шале, обиженный высунул голову из экипажа и спросил сидевшего на крыльце старика:

— Давно ли тут проехала карета с красивым молодым человеком высокого роста?

— Нынче поутру, сударь.

— Спасибо... кучер, гоните вовсю! Сто франков вам на чай, если к утру доставите меня в следующий город.

— А сколько за лошадей, если они падут? — спросил кучер.

— Двойную их стоимость, — ответил седок.

Кучер погнал лошадей, которые оказались очень выносливыми, и в назначенное седоком время доставили его в тот город.

Прибывший накануне в этот город обидчик переночевал там, а утром, выезжая из него, увидел растворенную церковную паперть. Почувствовав неодолимую потребность помолиться, он вошел в храм, опустил на колени и погрузился в жаркую молитву; когда люди обуреваемы страхом, они цепляются за соломинку веры. Он молился о прощении своего греха на небе, а еще пламеннее — о том, чтобы этот грех остался для него без последствий и на земле, и он, обидчик, был бы спасен от мести обиженного.

В нескольких шагах от него молился и его преследователь; но молитва последнего была короче: он только благодарил Бога за то, что ему удалось догнать своего обидчика.

Обидчик же увидел своего смертельного врага только в тот момент, когда окончил свою долгую молитву и вставал с колен, чтобы выйти из церкви и продолжать путь. Подняв голову, он прямо перед собою, из-за высокой спинки церковной скамьи, увидел страшное для него лицо.

Обиженный одним прыжком очутился возле обидчика и, со свирепою радостью во взоре, хотел уж нанести ему роковой удар приготовленным кинжалом, как вдруг с церковной колокольни раздался удар колокола, и одновременно с тем обиженный упал мертвым к ногам своего обидчика. У него порвалось сердце. На его посинелых губах застыла улыбка торжества.

Человек, совершивший обиду, снова опустил на колени возле трупа обиженного им и возблагодарил Бога за свое чудесное спасение.

Куда девалось тело обиженного — так и осталось неизвестным.

Прошло несколько лет. Обидчик прославился своими научными трудами и своею полезною общественною деятельностью.

В его лаборатории было собрано множество предметов, необходимых для его научных изысканий, и, между прочим, очень старый, много раз переходивший из рук в руки скелет.

Однажды этот скелет рассыпался в прах, и его ученому обладателю понадобился новый. С этой целью он отправился к одному знакомому старому торговцу редкостями, лавочка которого ютилась в тени собора Парижской Богоматери. На счастье ученого, у торговца оказался налицо недавно приобретенный им великолепный, тонкокостный и удивительно пропорционально построенный скелет. Ученый, не торгуясь, приобрел этот редкостный «экземпляр», и торговец обещал самолично в тот же день доставить его покупателю на дом и водворить у него в лаборатории. И он сдержал слово: когда ученый вернулся домой, побывав после посещения лавки еще в нескольких местах, новый скелет уже стоял у него в лаборатории на месте старого.

Усевшись в свое старинное кресло с высокою спинкой, ученый старался собрать свои мысли, которые упорно стремились туда, где им не следовало быть. Наконец он открыл большой древний фолиант и начал читать. Он читал о человеке, который обидел другого, и бежит, преследуемый обиженным. Поняв смысл прочитанного, ученый торопливо закрыл книгу, встал и подошел к окну. Но тут он увидел перед собой залитый солнечным светом большой каменный помост большой чужестранной церкви и на этом помосте — распростертое тело мертвого человека с торжествующей улыбкой на губах.

Обругав самого себя за «нервозность», ученый с презрительным смехом отвернулся от окна. Смех его был повторен кем-то невидимым в близком от него расстоянии. Пораженный ученый остановился, как прикованный, и несколько времени напряженно прислушивался, не повторится ли снова этот смех, потом робко скользящим взглядом посмотрел туда, откуда он раздался. Но там, в углу, стоял тот белый оскалившийся скелет.

Отерев выступивший на лице холодный пот, ученый поспешно выскользнул из лаборатории. Два дня он не входил в это помещение, а на третий, взяв себя в руки и внушив себе, что неприлично ему, знаменитому естествоиспытателю, изведавшему (как он воображал) все тайны природы, разыгрывать из себя истерическую женщину, решился заглянуть в лабораторию. Был уже темный вечер, и ученый с горящей лампой прежде всего

осветил тот угол, в котором стояло то, что он про себя называл «связкою мертвых костей», купленных за триста франков. Не ребенок же он, в самом деле, чтобы пугаться такой обыденной для него вещи!

Подойдя вплотную к скелету, он поднял лампу над оскالившимся черепом и заметил, что пламя заколебалось, словно кто дунул в него. С замирающим от страха сердцем ученый машинально попятился, не сводя широко раскрытых, остановившихся глаз со скелета, убеждая себя, что из старых стен дует ветер. Допятившись до стола, он поставил на него лампу и замер, схватившись обеими руками за край стола.

Сделав над собою невероятное усилие воли, он заставил себя углубиться в работу, однако через несколько времени взгляд его невольно снова обратился на скелет, который точно притягивал его своими пустыми глазными впадинами.

Ему хотелось бежать вон из лаборатории и громким криком созвать своих людей, но он мужественно поборол в себе это малодушное чувство и ограничился тем, что встал, загородился от скелета экраном и вновь сел к столу.

Но мысль с прежним упорством отказывалась повиноваться ему, а глаза все время как-то сами собой обращались в роковой угол.

И вдруг он ясно увидел, как из-за экрана протянулась костлявая рука и грозила ему. Может быть, это была простая галлюцинация, а может быть, и действительность — кто может с достоверностью определить это? Но, во всяком случае, это так подействовало на ученого, что он с раздирающим душу криком упал на пол и лишился чувств.

Прибежали слуги, подняли его и уложили в постель. Когда приглашенные к нему врачи привели его в себя, первым его вопросом был, где находится в лаборатории недавно приобретенный им скелет. Ему ответили, что скелет преспокойно стоит на том самом месте, где стоял раньше. Но он просил, чтобы пошли и посмотрели, так ли это. Врачи, с трудом сдерживая насмешливую улыбку, исполнили желание больного: отправились в лабораторию и, вернувшись оттуда в спальню, подтвердили, что скелет на своем месте.

После непродолжительного совещания ученые мужи единогласно решили, что больной слишком заработался, переутомился, расстроил свою нервную систему, стал страдать галлюцинациями, — словом, нуждается в продолжительном отдыхе.

Он отдыхал целых три месяца, до самой осени, пока пользовавшие его врачи не заявили ему, что считают его вполне

окрепшим, и что он вновь может приступить к своим полезным для человечества трудам.

И вот после такого долгого промежутка времени он снова вошел в свою лабораторию, подошел прямо к столу, разложил вокруг себя книги и приборы и принялся за свои прерванные занятия.

Через несколько минут к нему вернулся прежний страх, и ему опять хотелось бежать. Но, стиснув зубы, он дал себе слово, что на этот раз не поддастся никаким галлюцинациям и поборет свой, недостойный его, «бабий» страх. С этой решимостью он запер единственную дверь лаборатории на ключ и бросил его в самый дальний угол.

Совершив свой вечерний обход по дому, старая экономка, как всегда, осторожно постучалась к нему в дверь, чтобы пожелать ему покойной ночи. Не получая ответа, она постучалась погромче и, возвысив голос, повторила свое доброе пожелание хозяину. На этот раз она услышала ответное «доброй ночи» и ушла.

Сначала старушка не придавала значения этому действительно само по себе пустячному инциденту, но впоследствии припомнила, что ответивший ей из лаборатории голос был какой-то странный, словно скрипучий, похожий на голос «говорящих» кукол, у которых давно не смазан механизм.

На следующее утро ученого нигде не оказывалось: ни в спальне, ни в столовой, а дверь в лабораторию оставалась запертой изнутри. Положим, он часто подолгу зарабатывался, когда был увлечен каким-нибудь особенно интересным исследованием; поэтому не решились беспокоить его.

Подождали до вечера, и, видя, что хозяин все еще не показывается, слуги собрались возле двери лаборатории, прислушиваясь, не слышно ли чего изнутри. Но в лаборатории все было мертвенно тихо. Вспомнив о том, что было три месяца тому назад, слуги встревожились, опасаясь, как бы опять не повторился странный припадок, уложивший в постель их хозяина. Стали стучать в дверь и звать хозяина; но в ответ — ни звука. Сильно встревоженные, слуги дружным напором взломали дверь и вошли в лабораторию.

Ученый сидел в своем любимом кресле, пред столом, откинувшись головою на его высокую спинку. Он был мертв. Люди сперва подумали, что он умер сам по себе, но, приглядевшись к нему, заметили вокруг его шеи следы костлявых пальцев, а в его открытых глазах — выражение неописуемого ужаса.

Когда Джефсон окончил свою историю, последовало

тягостное молчание. Все мы сидели в виде истуканов, вдумываясь в смысл только что услышанного. Браун первый прервал это молчание обращенным ко мне вопросом, нет ли у меня брэнди, стаканчик которого ему хотелось бы выпить на ночь. Брэнди всегда был у меня в запасе, и я удовлетворил желание приятеля.

Как-то раз мы с Джефсоном только вдвоем разрабатывали сюжеты для нашей будущей повести, и, когда разговор коснулся кошек, Джефсон сказал:

— Я положительно уважаю кошек. Мне кажется, что в этом мире только у кошек и можно еще встретить настоящую совесть, настоящее сознание своей правоты и неправоты. В самом деле, посмотри на кошку, когда она делает что-нибудь нехорошее (если только удастся увидеть ее в это время), и ты убедишься, как она старается, чтобы никто не поймал ее на месте «преступления»; а если все-таки застанут, то с каким совершенством она разыгрывает из себя полную невинность, даже во сне не способную позволить себе какое-нибудь правонарушение. Она сумеет показать вид, будто в данный критический момент делает совсем не то, что ты ясно видел. Трудно поверить, чтобы у кошек, да и вообще у животных, не было того, что называется душою.

Возьмем, например, вашу же кошку, своей окраскою так напоминающую черепаху. Сегодня утром я наблюдал, как она прокрадывалась за цветочными горшками с целью овладеть молодым дрозденком, беззаботно раскачивавшимся на одном из канатов. Глаза ее горели огнем кровожадности, в каждом движении ее напряженных мускулов видна была подготовка к нападению на свою жертву. Но в тот момент, когда она собиралась броситься на ничего не подозревавшую птичку, судьба, изредка благоволящая и слабым, захотела, чтобы кошка заметила, что я наблюдаю за нею, — с нею тут же произошла полная метаморфоза. Кровожадная хищница, только что наметившая себе добычу, исчезла, а вместо этой хищницы пред моими изумленными взорами (впрочем, они могли бы быть изумленными только в том случае, если бы я уже раньше не был хорошо знаком с кошачьими повадками) очутилось настоящее воплощение кротости и миролюбия, с видом упоения красотою природы глядевшее на облака. Вся поза хищницы красноречиво говорила по моему адресу:

«Неужели ты мог подумать обо мне что-нибудь дурное? Напрасно! Я только приглядывала себе с своей обычной рассудительностью местечко, откуда мне было бы удобнее любоваться окружающим. Никаких птичек у меня никогда не было и намерения обижать; напротив, по своему сострадательному характеру я всегда готова даже защищать бедных птичек от их *настоящих* врагов: коршунов, воронов и прочих пернатых разбойников...»

Потом посмотри на старого кота-забулдыгу, рано утром пробирающегося домой после ночи, проведенной на пользующейся дурною репутациею крыше. Можно ли представить себе существо, более опасющееся быть замеченным в это время? Так и видишь, как этот, опасливо озирающийся вокруг ночной мотыга думает про себя:

«Гм! Неужели уже так поздно? Как быстро летит время, когда пользуешься радостями жизни! Надеюсь, никто не попадет мне навстречу; ведь для наших двуногих хозяев довольно еще раненько... Впрочем, вон уж никак сидит один и... о, ужас! — глядит на меня... Ах, как нехорошо, что теперь так рано стало рассветать!.. Нет, слава Богу, я ошибся: этот смотрит вовсе не на меня... А вон там, впереди, идет полицейский... Вот он остановился на углу, как раз против нашего дома. Ну, как я теперь пройду, чтобы он меня не заметил и не насплетничал бы потом нашей няньке, что видел меня возвращающимся так поздно? Нянька непременно передаст хозяйке, а та сделает мне выговор, и мне будет очень стыдно... Нет, лучше посижу здесь; авось, этот лупоглазый полицейский скоро уйдет, тогда я и шмыгну к себе в окно. На мое счастье, быть может, все и благополучно обойдется».

Кот свертывается клубочком в тени фонарного столба и по временам осторожно выглядывает из-за столба, наблюдая за полицейским, который, как нарочно, не двигается с места.

— Что это с ним? — ворчит про себя кот. — Уж не в дерево ли он хочет превратиться? Почему не идет дальше? Другим не позволяет нигде подолгу останавливаться, а сам стоит чуть не целый час!

Вдруг где-то поблизости раздается возглас молочника, предлагающего свой товар. Кот испуганно вскакивает и мяукает про себя:

«Ну вот, дождался! Теперь весь народ выбежит на улицу и увидит меня... Ах, ты... Что ж мне теперь делать?.. Придется идти на ура».

Он беспомощно оглядывается, соображая, куда бы ему лучше юркнуть, и говорит себе:

«Все бы еще ничего, если бы я не выглядел таким грязным — еще бы: вся крыша там в саже! — и помятым; не успел путем вылизаться. Теперь каждый поймет, где я был».

Придав себе вид невинно пострадавшего, кот медленно, степенными шагами подвигается вперед к своему дому. Ясно, что он хочет показать, будто он всю ночь провел в отряде членов общества «Общественной безопасности», и теперь, разбитый усталостью и вынесенными им опасностями, возвращается домой

после тяжелых ночных трудов.

Добравшись до заветной форточки, он в мгновение ока влетает в окно и устраивается клубочком в углу кухни, около плиты, и как раз вовремя, потому что чрез минуту в кухню входит кухарка и умиляется при виде так красиво свернувшегося и «крепко спящего» Тома. Когда она подходит погладить его, он притворяется, что только что проснулся, еле открывает сонные глаза, зевает, вытягивает передние лапки и курлычет:

«Уж и утро? Как я крепко спал! Если бы не ты, я ни за что бы не поверил, что уж столько времени... А какой славный сон я видел: мне снилось, будто ты поила меня теплым, жирным молочком...»

И кухарка хорошо понимает курлыканье своего любимца.

— Животное! — презрительно говорят многие.

А чем эти животные хуже людей? Ведь только телостроением они и отличаются от нас, а по своим внутренним свойствам они такие же, как мы со всеми нашими добрыми и дурными качествами.

— Разумеется, так, — поддакнул я, поймав устремленный на меня вопросительный взгляд Джефсона. — Я вполне согласен с тобой в этом вопросе. Только человеческое невежество заставляет людей смотреть на животных, как на нечто неизмеримо низшее, чем они сами, не обладающее ни разумом, ни душою, хотя сама грамматика причисляет животных к предметам «одушевленным». Не понимают люди того, что дело лишь в степени, а не в качестве... Кстати и я расскажу о большом черном коте — назову его также Томом, — которого я знал. Он принадлежал одному семейству, где я часто бывал в детстве. Это семейство взяло его к себе котенком, выходило и по-своему любило; любил и Том приютившую его семью и тоже по-своему. Особенно же сильной привязанности не было ни с той ни с другой стороны.

Однажды по соседству появилась прехорошенькая кошечка, которую звала Ченчиллой. Она быстро подружилась с Томом, по целым вечерам просиживала вместе с ним на заборе и вела душевные беседы.

Первую свою беседу они начали так:

— Ну, как живешь, Том? — спросила Ченчилла, умильно поглядывая на соседнее дерево, где чирикали птички.

— Ничего, слава богу. Хозяева хорошие, не обижают, — ответил Том, щурясь на то же дерево.

— Ухаживают за тобой, гладят тебя?

— И ухаживают, и гладят, и за ушами иногда почешут; все честь честью.

— А чем кормят? — любопытствует Ченчилла.

— Тем же, чем обыкновенно кормят нашего брата: дают разные оскребыши, косточки, иногда и жилочку какую бросят.

— Косточки?! — изумленно восклицает Ченчилла. — Да разве ты умеешь грызть кости?

— Отчего ж не уметь? Зубы ведь и у меня есть, — недоумевает Том.

— Мало ли что есть! Да разве мы собаки? Собакам, действительно, полагается грызть кости, а нам, кошкам, это даже неприлично... Неужели тебе никогда не дают ни баранинки, ни цыпленочка, ни даже сардиночки?

— Цыпленочка? Сардиночки? — с возрастающим недоумением повторил Том, качая своей большой головой. — А что такое «сардиночки»? Я сроду и не видывал таких штук.

— Да неужели? — ужасалась Ченчилла, придвигаясь к нему поближе. — Бедненький! А еще хвалит своих хозяев... Ну, а на чем ты у них спишь?

— Как на чем? Известно, на полу.

— Та-ак... одно, значит, к одному... А лакать что дают? Наверное одну воду с капелькою снятого молока?

— Говорят, что дают молоко, но оно, по правде сказать, такое жиденькое, что скорее похоже на мутную воду, — сознался Том.

— Так я и думала... Охота тебе, Том, оставаться у этих скупердяев. Лучше ушел бы ты от них.

— А куда ж я уйду?

— Куда хочешь.

— Как — куда хочу?! А если меня-то никто не захочет взять? — рассудительно возражал Том.

— Возьмут, если ты сумеешь как следует взяться за дело, — наставительно промолвила Ченчилла и продолжала: — Неужели ты думаешь, что я так все у одних хозяев и живу? Как бы не так! Нашли такую дуру... Нет, я уж семь раз меняла их, и каждый раз выбирала лучших... Знаешь, где я родилась? — В свином хлеве. Нас было трое: мама, братишка и я. Мама каждый вечер покидала нас и возвращалась только под утро. Но в одно утро она к нам не вернулась. Мы ждали-ждали, весь день прождали, а мать все не идет, и нас одолел такой голод, что нам становилось невтерпез. А что же было делать? Прижались покрепче друг к другу да и плакали, пока не заснули.

Вскоре мы опять проснулись от голода. Выглянули в щелку между бревнами хлева и увидели, как наша мать еле тащится домой, почти прижавшись к земле. Мы крикнули ей, чтобы она скорее шла к нам. Она ответила нам всегдашним «куурр», но не прибавила шагу, как, бывало, делала раньше в таких случаях.

Наконец она протискалась к нам под дверь, но так и осталась

лежать возле двери, перевернувшись на бок. Мы радостно подбежали к ней и припали к ее груди, а она принялась лизать нас — то меня, то братишку.

Я так у нее около груди и уснула. Ночью я проснулась, потому что почувствовала холод. Я крепче прижалась к матери, но от этого мне стало еще холоднее. Тут я заметила, что мать вся мокрая и липкая, и что у нее из бока что-то течет красное... Потом я разглядела, что от этого красного мать сама вся красная, мокрая и липкая. Тогда я еще не знала, что это такое, а после узнала.

В то время мне было всего четыре недели от роду, и с этой страшной ночи мне пришлось уж самой позаботиться о себе. Несколько времени мы с братишкой еще оставались в хлеве, кое-как пробавляясь чем попало: когда мышкою, нечаянно забредшею к нам, когда жучком или какими червячками. Трудно было нам, но все же, как видишь, остались живы. Потом мы стали промышлять по окрестностям и немножко поправились.

Прошло три месяца. Однажды я забрела дальше обыкновенного в поле и увидела стоявший там одинокий домик. Я заглянула с отворенную дверь, увидела, что там так хорошо и уютно, и вошла. Я всегда отличалась решительным и смелым характером.

Пред очагом, на котором горел огонь и откуда повеяло на меня приятным теплом, играли дети. Они приняли меня очень радушно и тотчас же принялись кормить молочком, потом всячески гладили и нежили. Все это было непривычно и приятно для меня, и я осталась у них. Эта простая хижинка показалась мне тогда дворцом.

Вероятно, я так и осталась бы там до конца своих дней, если бы мне не вздумалось как-то пойти прогуляться в соседнее село, где, проходя мимо одной торговли, я увидела сквозь отворенную настежь дверь, что в комнате за торговым помещением еще лучше, чем там, откуда я пришла: везде стояла мягкая мебель, пред диваном лежал ковер, а пред камином — половичок. Все это мне очень понравилось, и я решила поселиться здесь, да так и сделала.

— Как же ты это сделала? — с видимым интересом осведомился Том.

— Очень просто: так же, как и в первый раз. Взяла да и вошла в лавку и, подняв повыше хвост, стала тереться о ноги старика-лавочника, просительно мурлыкать и по временам жалобно мяукать. Самое главное для нас, кошек, сноровка; со сноровкою можно всего добиться, а без нее самая умная кошка пропадет ни за что ни про что. Старик нагнулся, взял меня на руки и

погладила, а я еще усерднее стала тереться о его плечо, пригибаться головою к державшей меня руке и водить по ней носом; вообще, проделывала все, что нам полагается, чтобы заслужить себе милость. Старик позвал свою жену, такую же добродушную старушку; она также отнеслась ко мне очень ласково, за что я, разумеется, отблагодарила и ее, чем могла. Оба старика восхищались моей миловидностью, ласковостью, а главное — доверчивостью к ним, и были очень рады, когда заметили, что я не прочь водвориться у них на жительство. И я водворилась.

Иногда, во время своих прогулок, я проходила мимо той хижинки, где в первый раз нашла себе приют. Дети усердно звали меня назад к себе, обещая опять попить молочком, покачать меня на руках и поиграть со мной. Но я делала вид, что совсем и не знаю их. Как-то раз им удалось меня поймать, и младший стал жаловаться, говоря, что долго не мог спать и все скучал по мне, считая меня где-нибудь погибшей. Я приласкалась к ним, но при первом удобном случае опять удрала от них, и потом старалась больше не попадаться им на глаза, пока не выросла настолько, что они сами не могли уж узнать меня.

У лавочника я оставалась около года, а потом перешла в новую усадьбу, где недавно поселились какие-то приезжие из большого города, очень богатые люди, которые привезли с собой хорошего повара, как я узнала от моих же старичков. В новом месте я тоже была принята хорошо, и мне там жилось как нельзя лучше. Кормили меня прямо со стола разными лакомствами: и сардинками, и бараньими котлетками, и цыплячьими ножками, и многим еще другим очень вкусным. У них я непременно осталась бы навсегда, если бы с ними не случилось какого-то несчастья, которое заставило их продать усадьбу со всей прекрасной обстановкою, отпустить повара и других слуг и нанять себе почти такую же хибарку, как та, из которой я перешла в лавку. Вернуться в прежнюю обстановку я, конечно, не пожелала.

Я стала присматриваться, где бы мне еще пристроиться. По соседству жил одинокий старик, которого прозвали за что-то Жабой. Говорили, что он очень богат, но не любит людей, поэтому и люди не любят его. Я основательно обдумала все это и решила, что если он не любит людей, то, быть может, полюбит меня, потому что я знаю, как надо заставить полюбить себя. «И, наверное, — думалось мне, — он будет мне рад».

Я не ошиблась в своих расчетах. Никто никогда так не баловал меня, как этот Жаба. Моя настоящая хозяйка тоже очень меня любит, но у нее есть еще и другие привязанности, кроме меня. У Жабы же никого другого не было. Он едва верил своим

глазам, когда я в первый раз прыгнула к нему прямо на колени и начала тереться головой об его щетинистую щеку.

— Киска, киска! — говорил он со слезами на своих впалых глазах, нежно поглаживая меня. — Ведь ты — первое живое существо, которое по доброй воле приходит и ласкается ко мне?.. Ах, милая кисочка, может быть, ты и останешься со мной?.. Оставайся, кисонька, и мы с тобой вот как заживем!

У него я провела два года. Потом он захворал, явились какие-то чужие люди и начали хозяйничать у него в доме. На меня эти люди и внимания не обращали. Только хозяин все по-прежнему относился ко мне и желал, чтобы я лежала у него на постели, и он мог бы гладить меня своей длинной бледной рукой. Я сначала так и делала, но потом мне сделалось очень тяжело все время находиться возле больного. Я боялась сама захворать, поэтому решила, что пора опять переменить место жительства. Но мне нелегко было уйти от Жабы. Он беспокоился, когда несколько времени не видел меня, и чувствовал себя хуже. По его просьбе меня отыскивали и приносили к нему, и тогда он, убаюкиваемый моим мурлыканьем, успокаивался и засыпал.

В одно утро я так далеко ушла от дома Жабы, что меня нельзя уж было больше найти. Но я не знала, к кому мне пристроиться. В двух-трех домах села, куда я заходила попытаться, меня тоже принимали довольно хорошо, но везде оказывалось неудобно. В одном месте была большая сердитая собака, а в другом — бэби. Лучше с голода умирать, только не жить в доме, где водятся бэби. Когда ребенок уже на ногах и тербит тебя за хвост или сует твою голову в бумажный мешок, то ты смело можешь оцарапать ему руку, и тебя никто не накажет, даже не осудит за это. Напротив, многие еще похвалят и скажут:

— Вот так тебе и нужно, шалуну (или шалунье)! Не мучь бедную киску.

Но если какой-нибудь злющий бэби схватит тебя за горло и начнет душить или норовит выколоть тебе глаза, и ты вздумаешь проучить его, то сейчас же вознегодуют, назовут тебя «коварным, бессердечным животным», выдерут и прогонят; а то и еще хуже сделают что-нибудь с тобою... Вообще скажу тебе по дружбе, Том: где водятся бэби, там нам не житье.

Наконец я основалась в доме одного банкира. Я могла бы поселиться и в одном большом ресторане, где еды было всегда вдоволь. Но там было слишком уж многолюдно и шумно, что тоже не совсем приятно для нас, любящих покой. У банкира же было очень тихо, и вообще в его доме царила такая благопристойность, которая мне всего больше по нутру. Этот банкир, кстати сказать, был и церковным старостой, а его жена

была такая благочестивая, что позволяла себе улыбаться только при какой-нибудь веселой шутке навещавшего их иногда епископа.

Ах, дорогой друг! Не слушай ты тех бессовестных циников, которые осмеивают приличие, порядочность и, вообще, все достойное уважения. Может быть, все это и не даст тебе лакомой еды и мягкой постели, зато в самом себе заключает награду, дает сознание своей безупречности; а это много значит. Сравниваешь себя с другими и видишь, что они все неправы: не то делают, что нужно, и не туда идут, куда нужно, между тем как про тебя ничего этого нельзя сказать. Ну, и приятно сознавать это. Притом же быть порядочным — не особенно и трудно: нужно только уметь держать себя, как говорится, в руках... Но это я так, кстати. Не буду больше надоедать тебе такими рассуждениями.

В доме банкира я провела без малого три года, и мне было очень грустно уходить из него. Я бы никогда не рассталась с этим раем, если бы и там все вдруг не изменилось к худшему. Хозяин куда-то исчез — говорили, что он уехал в какую-то Испанию, — и дом его по целым дням стал осаждаться толпами скандалистов, с угрозами требовавших денег. Даже все стекла у нас в доме они переколотили кирпичами; раз чуть было не попали в меня. Ну, я и ушла; нервы мои не выдержали.

Потом я попала в одно семейство, где и еды было много и спать было мягко, да только слишком уж мало обращали на меня внимания: проведут рукой по голове — и ступай прочь. Не привыкшая к такому пренебрежению, я ушла к одному крупному торговцу картофелем. Жена его чуть не по целым дням носилась со мной; целовала, ласкала, но и сильно тискала, то и дело крепко прижимая к своей широкой груди. Вскоре, однако, и с этим семейством стряслось что-то, после чего оно тоже вдруг исчезло куда-то, оставив меня одну в пустой квартире.

Последние неудачи заставили меня быть поосторожнее в выборе нового пристанища, и к настоящей своей хозяйке я перешла только по рекомендации одного старого друга, раньше жившего у нее. Он говорил, что она обожает кошек. Но сам он не остался у нее потому, что от него требовалось, чтобы по ночам всегда находился дома, а это было для него большим неудобством. Я не охотница до наших полуночных сборищ на крышах и заборах: слишком уж храбры наши кавалеры, так что дело обыкновенно кончается потасовкою между ними. Ну, вот я и пришла к этой хозяйке. Она любит меня, тоже отлично кормит и спать с собой кладет; но очень уж она неприятна на вид и какая-то странная, словно, того и гляди, готова перейти от ласки к таске; никогда не можешь быть спокойной за следующую минуту.

Как только отыщется что-нибудь более подходящее, уйду и от этой хозяйки.

Вот и вся история моей жизни вплоть до сего дня. Из нее ты можешь видеть, что очень не трудно изменять свое положение к лучшему. Наметь себе дом, подойди к заднему ходу и мяучь как можно жалобнее. Как только тебе отворят, прошмыгни скорей в дверь и трись о ноги того, кто отворил ее. Трись как можно усерднее, мурлычь громче и гляди доверчивее. Я заметила, что ничем так хорошо нельзя взять человека, как видом доверия к нему. Но вместе с тем будь настороже, чтобы не вышло каких-нибудь неприятных случайностей. Лишь только почувешь что-нибудь подозрительное, старайся незаметно улизнуть.

Если у тебя в самом начале будут сомнения относительно того, как примут тебя чужие люди, то пойди и вымочись в воде. До сих пор не могу понять, почему люди, при первом знакомстве с нами, предпочитают мокрую кошку сухой? Но что это факт — могут подтвердить тебе многие из нашей братии. Мокрую кошку обязательно примут, будут жалеть и ласкать, и оставят у себя, между тем как чужую сухую зачастую прогоняют самыми непозволительными способами. Потом запомни еще вот этот мой дружеский совет: когда войдешь в новый дом и тебе предложат корку черствого хлеба, то старайся ее съесть и при этом мурлычь что-нибудь от благодарности. Вид мокрой кошки, с благодарным мурлыканьем поедающей сухую корку, всегда производит смягчающее впечатление даже на самое черствое человеческое сердце.

Том не замедлил воспользоваться практическими советами своей новой подруги. По соседству с его хозяином поселилась бездетная чета. Вот Том задумал применить полученные советы к ней. В первый же дождливый день он вышел в открытое поле и принял там основательный душ. Промокнув до костей и порядком проголодавшись, так как с утра ничего не ел, он подошел к наметенной двери и жалобно замыкал. Отворила ему служанка. Он юркнул ей под платье и начал тереться об ее ноги. Служанка, почувствовав холодное и мокрое прикосновение к себе, испуганно вскрикнула.

— Что тут такое? — встревоженно спросил хозяин, выскочив в переднюю.

— Господи, уж не разбойник ли? — трепетным голосом вскричала и хозяйка, высунув из дверей комнаты испуганное лицо.

— Какая-то бродячая кошка, — ответила служанка, приподняв подол платья и увидев мокрого кота.

— Выгоните ее! — решил хозяин.

— Кошка? — повторила хозяйка, выступив немного вперед. — Ах, бедная... Нет, ее надо оставить. Кстати у нас нет кошки, и я давно хотела завести ее.

— Мокрая вся, бедняжка! — сострадательно прибавила служанка. — Я сначала не поняла, что такое за мокрое и холодное забралось ко мне под платье, оттого так и закричала.

— И, наверное, голодная? — подхватила кухарка, привлеченная оживленными голосами хозяев и горничной.

— А ты попробуй, предложи ей корочку черного хлеба, — вот и узнаешь, голодная ли эта хитрушка, — заметил хозяин, очевидно, уже знакомый с кошачьими повадками.

Кухарка мигом сбегала на кухню и принесла оттуда черствый кусок хлеба и раскрошила его на полу. Том моментально все подобрал до последней крошки, потом громко замурлыкал и стал тереться о светлые панталоны хозяина, оставляя на них мокрые следы. Видимо, смущенный своей несправедливостью, хозяин мягко проговорил:

— И в самом деле голодная. Ну что ж, пусть останется у нас, если хочет.

Обрадованная хозяйка велела горничной хорошенько, досуха, обтереть хвостатого гостя и потом напоить молоком, а потом принести к ней в комнату.

Таким вот путем Том и водворился в этом семействе, где его также стали кликать этим именем, когда заметили, что он — кавалер.

Между тем те, у кого он жил раньше, начали всюду искать его. До сих пор они не особенно заботились о нем, но когда он пропал, они были безутешны: им показалось, что они и жить без него не могут. Его внезапное исчезновение возбудило подозрение хозяйки, и она прямо обвинила мужа в том, что он, невзлюбив кота, убил его в сообщничестве с садовником, с которым в последнее время вел какие-то таинственные переговоры. Муж защищался против этого обвинения с такой горячностью, которая только подкрепила подозрение жены. Садовник предложил осмотреть дворового пса, нет ли на нем знаков кошачьих когтей, и если они окажутся, то признать его убийцей кота, с которым у него не раз происходили сильные баталии. Могло быть, что последняя из этих баталий и окончилась тем, что пес съел кота. На счастье пса, последняя его схватка с Томом произошла так давно, что ее следы успели совсем сгладиться; иначе псу пришлось бы, пожалуй, очень плохо от хозяев.

Потом подозрение пало на младшего сына хозяев, который как-то недавно нарядил кота в платье своей старшей сестренки и в таком виде возил по саду в своей тележке. В то время никто не

обратил внимания на эту шалость, но теперь, в минуту горя о пропавшем коте, вспомнили о шалости мальчика и подумали, что он мог потихоньку учинить над котом что-нибудь еще худшее, т. е. задушить его в игре и потом скрыть тело погибшего, из опасения ответственности. Допрошенный об этом мальчик упорно отрицал свою вину и уверял, что он так любил Тома, что лучше сам бы умер, чем обидеть его. Но ему плохо верили, наказали его и не велели долго показываться на глаза.

Недели через две Том, однако, сам вернулся на прежнее свое пепелище: он нашел, что на новом ему было нисколько не лучше, а потому решил опять поселиться у старых хозяев.

Последние были так обрадованы и удивлены его возвращением, что сперва подумали, уж не призрак ли это только его, но тут же убедились в полнейшей его реальности, когда Том преисправно съел целый фунт жаркого, предложенного ему с целью испытания. Беглеца все брали на руки и прижимали к своей груди, осыпали ласками и в один день надавали ему столько лакомств, сколько он в прежнее время не видал у них в целый год. Провозились с ним недели две, а потом снова стали опять остывать к нему и по целым дням не достаивать ни одной лаской. Заметив это, кот опять отправился к соседям.

Те также очень горевали, когда он внезапно исчез от них, и с такою же бурной радостью встретили его возвращение. Это внушило коту блестящую мысль: он сообразил, что если будет гостить у обоих семейств поочередно, то никогда никому из них не надоест и после каждого нового отсутствия всегда будет принят с новым восторгом. Так он и стал делать, и не ошибся в расчете. Периодические отлучки беглеца заставляли особенно дорожить его возвращением, и все всячески угождали ему, изучали его привычки и старались удовлетворять их.

В конце концов из-за него оба семейства поссорились, обвиняя друг друга в сманивании кота, а для разнообразия и в том, что его заставляют умирать с голода, поэтому он всегда и приходит к другим покормиться, после чего «морильщики» зачем-то снова утаскивают его к себе, подкараулив где-нибудь на улице.

Джефсон с видимым удовольствием выслушал эту историю и долго после того сидел в глубокой задумчивости.

Потом я стал рассказывать ему о кошке моей бабушки.

Это кошка после одиннадцатилетней безупречной жизни, произведя на свет многочисленное потомство (кажется, в живых осталось шестьдесят шесть котят обоего пола, а сколько их погибло тотчас же по рождении, — не могу сказать) вдруг, на склоне своих дней, ударилась в пьянство, и однажды, в состоянии полнейшей невменяемости, была постигнута мстительной

Немезидой, в виде фуры пивоваренного завода, под колесами которой самым печальным образом и покончила свое существование. Трагичность этого случая заключается в том, что эта кошка именно пивом и опивалась.

Я не раз слышал от проповедников трезвости и читал в листках руководителей движением трезвенников, будто ни одно животное никогда не выпьет ни одной капли алкогольных напитков, но факты говорят совсем другое. Никому не советую вводить в соблазн своих четвероногих друзей. Я знал одного пони, который... Впрочем, доскажу сначала о бабушкиной кошке.

Причиной нравственного падения этой кошки послужил пивной бочонок, у которого была неисправна втулка; из нее постоянно капало, и поэтому под нее ставилась миска, чтобы не текло на пол. Бочонок стоял в кухне, в углу, где он никому не мешал.

Однажды кошка пришла в кухню и стала искать чего-нибудь попить. Ничего другого не найдя, она ткнулась мордой в миску с пивом и чуточку лакнула, потом приостановилась, посмаковала и еще полакала. Затем она куда-то уходила, но немного спустя снова вернулась и докончила все, что было в миске.

После этого дня она почти не отходила от пивной бочки я чуть не из-под самой втулки подхватывала набегавшие капли; к вечеру же обязательно была «в градусах». Узнав об этом, бабушка стала держать пиво не в бочонке, а в бутылках. Приговоренная таким образом к воздержанию от понравившегося ей напитка, кошка целые полдня изводила всех своим жалобным мяуканьем, затем скрылась и только к ночи вернулась еще пьянее, чем напивалась дома. Куда она ходила и где открыла новый пивной источник, — никто не знал. Регулярно каждый день в определенное время она исчезала, как за нею ни следили, и возвращалась домой, положим, тоже в определенный час, но зато в самом позорном состоянии.

По дороге домой, в один воскресный вечер, она и угодила под фуру, переехавшую ее пополам. Старик, сидевший на фуре, объяснил, что никак не мог предвидеть такого случая, так как он ехал шагом. Кошка, наверное, в этот деньхватила через край, и ее мозги были так отуманены, что она, быть может, не только не заметила, что угодила под колеса, но даже путем и не почувствовала последствий этого. По крайней мере, фурманщик уверял, что не слышал никакого крика и почувствовал только, что одно колесо вдруг точно подпрыгнуло; когда же он оглянулся, чтобы узнать причину, то его глазам представилась печальная картина.

Бабушка приняла известие о гибели кошки гораздо

равнодушнее, чем можно было ожидать. Она в последнее время сильно охладела к своей бывшей любимице, разочаровавшись в ее добром поведении. Мы, дети, много плакали над подобранным одним из нас трупиком погибшей кошки и заботливо зарыли его в саду под черемухой, завернув в чистую тряпочку и уложив в сколоченный мною ящик.

Передохнув после этого рассказа, я стал повествовать еще об одной кошке, которая принадлежала моей сестре.

Эта кошка была самым чадолюбивым существом в мире. Она и дня не могла пробыть без того, чтобы кого-нибудь не понянчить. Племени своих питомцев она совсем не разбирала. Если нельзя было достать котят, она охотно брала на воспитание и щенят, и крысят, и, вообще, что попало, лишь бы это было живое и нуждалось в уходе. Если бы ей доверили цыплят, то, я уверен, она и их постаралась бы вскормить с такою же нежностью, как своих собственных отпрысков.

Все силы ее мозга сосредоточивались на чувстве материнства, почему для других надобностей этих сил оставалось очень мало, судя по тому факту, что она всех маленьких зверенышей считала котятами. Однажды мы подложили к ее собственному семейству только что появившегося на свет щеночка, лишившегося своей матери. Это был беленький шелковый шпицик испанской породы. Кошка кормила и лизала его наравне с своими котятами, и страшно была поражена, когда он в первый раз залаял. Опомнившись, она закатила ему по плюхе в каждое ухо, потом села, бросила на удивленного и испуганного щенка взгляд скорбного негодования, смешанного с жалостью, и принялась причитать:

— Хорош ты у меня удался, сыночек! Я надеялась, что ты будешь мне утешением в старости, а ты вот какой озорной: орет, точно свирепый пес, да еще таким голосом, словно у бульдога!.. А уши-то какие: по всему рылу болтаются!.. Вообще хорош, нечего сказать!.. Срам, да и только, что у меня появился такой незадачливый сын.

Щеночек был очень добронравный, покорный и ласковый. Чтобы угодить своей воспитательнице, он научился мяукать, умывать себе рыльце нализанными лапочками и «прилично» держать хвост. Но успехи его плохо соответствовали его доброй воле и стараниям. Не знаю, что было грустнее: его усилия походить на кота или огорчение его приемной матери по поводу того, что он такой выродок. Все же она долго и сильно скучала по своему приемыше, когда мы отдали его одной даме, пришедшей в восторг от прелестного щеночка и выпросившего его себе. В

утешение мы дали кошке новорожденную белочку. Кошка и ее приняла с большою радостью, вероятно, также считая котенком... Впрочем, это я предполагаю так, с обыденной человеческой точки зрения. Очень может быть, что она совсем не разбирала племени своих питомцев, как я уже сказал.

Во всяком случае, белочка сделалась ее любимицей. Воспитательнице нравились серая кошачья окраска белочки и ее пышный хвост. Тревожило ее только то, что белочка постоянно закидывала этот хвост выше своей головы, причем его кончик устраивала дугой. Много хлопот было бедной кошке с этим хвостом. Придерживая непокорный хвост одной лапкой книзу, она старательно лизала его, надеясь таким путем справиться с его излишней «топорщивостью». Но лишь только она снимала с него лапку, как он снова круто взвивался над головой белочки, и бедная кошка, все труды которой пропадали без всякой пользы, даже вскрикивала от огорчения.

Как-то раз эту кошку пришла навестить соседская мурлыка, и между подругами произошла следующая беседа:

— Цвет у нее вполне приличный, — заметила соседка, не имея сказать чего-либо лучшего о казавшейся ей подозрительной кошечке, которая сидела на задних лапках, с завернутым через голову хвостом, а передними расчесывала свои длинные усы.

— Да, цвет у нее очень хорош, — с гордостью подтвердила воспитательница белочки.

— Лапы вот только не такие, какими следовало бы быть им, — продолжала соседка.

— Да, лапы действительно немножко... не того, — задумчиво говорила воспитательница. — Тонковаты...

— Ну ничего, после, может быть, пополнеют, — с деланным участием утешала соседка.

— Разумеется! — подхватывала обрадованная воспитательница. — Конечно, когда она подрастет, и лапы поправятся... А что ты скажешь насчет ее хвоста? Видала ли ты когда-нибудь более изящный хвостик?

— Хвост ничего себе, красивый, пышный... Но зачем же она все закидывает его через голову?

— Не знаю. Сама никак не могу понять, отчего это. Допрашивала дочку на этот счет, но и она не может путем ничего объяснить. Только одно и твердит, что он у нее сам собою всегда принимает такое положение. Чего-чего только я ни делала, чтобы выпрямить его, — ничто не помогает. Надеюсь только на одно: со временем он отвердеет и выпрямится.

— Хорошо, если так, а то неловко как-то смотреть, — рассуждала соседка. — Положим, и у нас полагается задирать

хвосты, но только перед нашими хозяевами, чтобы этим оказать им особенную честь. Ходить же постоянно с завернутыми хвостами... не совсем удобно.

— Конечно, конечно! — с скрытой грустью соглашалась воспитательница. — Думаю, когда-нибудь да вылижу ей этот несчастный хвост так, что он перестанет топорщиться, хотя это довольно трудная задача: слишком уж много потребуется лизанья для такого пышного хвоста.

По уходе соседки наша кошка чуть ли не целых три часа подряд прилизывала хвост белки, но когда, вполне убежденная, что теперь уж, наверное, достигла цели, сняла лапку, хвост по-прежнему взвился кверху, и она смотрела на него с таким отчаянием, какое могут понять только родители, видящие, что их любимые дети совсем не в них.

— Да, интересные кошечки, — заметил Джефсон, подымаясь и принимаясь шагать назад и вперед по палубе, когда я окончил свое повествование. — Но об одной, еще более интересной кошке я слышал от одного моряка.

Как-то раз у нас с ним зашла речь о сметливости животных, и он сказал:

— Да, сэр, обезьяны удивительно умны и ловки, и я не жалел, отчего нельзя набрать из них экипаж: ведь стоит им хоть раз посмотреть, как что делать, и они будут знать. Нужно только держать их в руках, чтобы не избаловались, и смотреть за ними в оба, а не то напроказничают так, что после и сами не рады будут. Впрочем, ведь и между ними большая разница, и на некоторых из них вполне можно положиться. А слоны-то! Это уж прямо воплощенное чудо, если только все то, что о них рассказывается, правда. И у собак головы привинчены не даром. Но самые сообразительные, рассудительные, решительные и изобретательные животные, по моим наблюдениям, — все-таки кошки. Собака видит в человеке высшее существо и постоянно это выражает, а потому и человек склонен видеть в собаке самое умное из всех четвероногих. Кошка же совсем особого мнения о нас. Хотя прямо она этого и не выказывает, но достаточно и ее намеков на наш счет. А так как нам это не по вкусу, то мы и говорим, что кошки глупее собак. Между тем, думается мне, нет ни одной кошки, которая не сумела бы обойти самую умную собаку с подветренной стороны. Разве вам не случалось видеть, как сидящая на цепи собака выходит из себя от бессильной ярости потому, что ровно на три четверти дюйма от того пункта, до которого она не может достать, сидит кошка и дразнит ее. Кошка сидит совершенно спокойно, поджав лапки и зажмутив

глаза. Вот этим спокойствием и самым своим видом она и раздражает собаку; последняя делает отчаянные усилия, стараясь сцапать кошку, рычит, лает, визжит, а кошка и ухом не ведет. Она прекрасно понимает, что железная цепь не может растягиваться. А раз кошка понимает это — значит, она умнее собаки, которая, несмотря на свое тесное знакомство с цепью, какового знакомства у кошки нет, воображает, что если хорошенько понатужиться, то можно и железо превратить в резину.

Потом, попробуйте-ка спугнуть кошек, задающих ночью концерт под вашим окном; как громко и грозно вы ни кричите и ни машите на них руками, кошки спокойно будут продолжать свое дело и, взглянув мельком на вас, думают про себя: «Благодарим за компанию! Под ваш аккомпанемент нам еще веселее!» Они хорошо понимают, что вы ничего не можете им сделать, даже не бросите в них того предмета — сапога, туфли, подсвечника или еще чего-нибудь, что попало вам под руку, — которым угрожаете им в открытое окно; не бросите, потому что не захотите лишиться своей вещи. Но если они увидят, что вы вооружились кирпичом или камнем, то есть чем-нибудь таким, чего не пожалеете бросить, тогда они в один миг исчезнут с того места, где задавали свой концерт, и будут продолжать свои вокальные упражнения дальше.

Нет, что касается практической сметки, собака по сравнению с кошкой — олицетворение наивности. Пробовали вы когда-нибудь, сэр, рассказывать сказки в присутствии кошки?

Я ответил, что мало ли что говорится в присутствии кошек, но на их поведение в это время никто не обращает внимания; ведь не с ними ведется беседа.

— Так сделайте этот опыт, сэр, — посоветовал мой собеседник и продолжал: — Если вы заметите, что кошка при вашем рассказе ничем на него не реагирует, то можете быть уверены, что в ваших словах нет ничего такого, чего бы вы не могли повторить пред высшим представителем правосудия в Англии.

У меня был приятель, по имени Уильям Кули, но мы его прозвали Правдивым Билли за то, что в серьезных делах это был такой человек, на которого смело можно положиться; зато в простой беседе он городил такие вещи, что небу становилось жарко. У него была собака, принимавшая на веру каждое его слово. Однажды Билли плел нам небылицу, которая превосходила все, что я раньше слышал от него в этом роде. Я наблюдал за собакой. Она лежала у ног своего хозяина и с поднятыми вверх ушами внимательно слушала, изредка взглядывая на меня такими глазами, в которых ясно читалось: «Каково? А? Ну, не умник ли

мой хозяин, если знает такие вещи, о каких никто никогда и не слыхивал?» И опять с восторженным умилением ловила каждое слово, срывавшееся с болтливового языка рассказчика.

Мне было досадно, что у Билли такой наивный четвероногий друг, который своим крайним доверием только поощряет его вранье, и как-то раз сказал ему:

— Знаешь что, дружище, мне бы хотелось, чтобы ты повторил свой рассказ у меня дома.

— Что ж, с удовольствием. Как-нибудь приду к тебе, и ты напомни тогда, — ответил Билли, видимо обрадованный. — А почему тебе захотелось?

— Пусть мои послушают: им это очень понравится, — солгал я.

На самом же деле у меня был старый кот, и мне хотелось знать, как отнесется он к фантазиям моего приятеля.

Билли пришел ко мне в один воскресный вечер. У меня было в гостях несколько человек знакомых. Кот сидел пред огнем и казался дремлющим, но по особому выражению его лукавой мордочки я видел, что он внимательно наблюдает за всем, что делается и говорится вокруг него.

По моей просьбе, Билли пустился сочинять. Он всегда давал новые сочинения, или, точнее, — новые вариации на старую тему; дословно же никогда не повторялся, надо отдать ему в этом справедливость.

После первых же вступительных слов рассказчика кот, принявшийся было умываться, приостановился и наострил уши с таким видом, точно хотел сказать: «Эге, никак к нам пожаловал миссионер!» Я сделал ему знак, чтобы он ждал, что будет дальше, и он продолжал свое дело, не переставая, однако, прислушиваться. Когда Билли начал описывать, как на огромный парусник напала чудовищная рать прожорливых акул и в один миг проглотила весь почти экипаж, не встретив со стороны его никакого сопротивления, кот всем своим видом выражал такое презрение, которое яснее всяких человеческих слов говорило: «И не стыдно тебе так врать? Ты уж лучше сказал бы, что акулы сразу проглотили весь корабль со всею его оснасткою!» В это время я совсем забыл, что это — только животное, а не человек в кошачьей форме. Мне казалось, что кот, с целью выразить свое негодование, примется говорить по-нашему и осрамит Билли на всю компанию. Я вздохнул с облегчением, когда кот, вместо этого, ограничился тем, что повернулся к рассказчику спиной. Но было ясно видно, что он сильно борется с своими чувствами, стараясь подавить их, и я невольно позавидовал его умению держать себя в «лапах». Вместе с тем я искренно жалел своего

старого лохматого друга, понимая, какую муку должен был терпеть он.

Но вот Билли заговорил о том, как по окончании битвы с акулами, когда они втроем (из всего экипажа уцелел только он, капитан и один из младших матросов) поймали акулу, успевшую сорвать с капитана золотые часы с цепочкой, и как Билли с капитаном держали разинутою пасть этой акулы, пока матрос лазил к ней в брюхо за часами. Вдруг мой кот вскрикнул, точно на него набросилась пара злых собак, и повалился на спину, подняв вверх все четыре лапы. Я уж думал — конец моему коту: не выдержало его правдивое сердце такой беззастенчивой лжи. Однако минуту спустя он пришел в себя, оправился и сел, вытянувшись как палка и с самой возбужденной физиономией. Видимо, он решился дотерпеть до конца.

Однако когда у Билли дело дошло до того, что проглоченные акулами офицеры, матросы и прочий состав экипажа оказался целехонек, ухитрившись вылезть обратно из своих живых тюрем, кот больше уж не был в состоянии вынести. Поднявшись на лапы, он обвел присутствовавших таким взглядом, точно говорил: «Простите, господа! Может быть, ваши нервы крепче и выносливее моих, с чем вас и поздравляю, но я больше не могу слушать такую наглую ложь, и лучше уйду, пока цел».

С этим он подошел к двери и жалобно промяукал. Я понял и выпустил его.

Вот вам и доказательство, сэр, что кошка умнее собаки, — заключил моряк.

Меняется ли человек? Бальзак уверял, что нет, и мои наблюдения вполне подтверждают его взгляд.

Когда я был молод и мое мировоззрение создавалось исключительно по указке окружавших меня старших, я верил, что человек меняется. Мне то и дело представляли живые примеры радикальных перемен характеров у людей. Должно быть, наш поселок, находившийся по соседству с небольшим портовым городом, был особенно богат такими преобразившимися людьми, которые будто бы прежде отличались крайней безнравственностью, а потом стали образцами добродетели. О них говорилось, что они теперь очень счастливы, и я по молодости верил этому.

Между этими людьми находился один близкий знакомый нашего семейства, маленький худенький старичок, с добрыми глазами и тоненьким, как у ребенка, голоском. Шел слух, что он в молодости был чудовищно дурным человеком. Когда я спрашивал, чем же именно он был так дурен, мне отвечали, что я еще слишком мал, чтобы знать такие вещи, и я, судя по некоторым подхваченным мною на лету словам, про себя решил, что старик был пиратом. Это заставляло меня смотреть на него скорее с восхищением и уважением, чем с ужасом и негодованием. Слышал я также, что он был обращен на путь истинный своей женой, дамой на вид крайне неприятной, но пользовавшейся самой лучшей репутацией.

Как-то раз этот старичок пришел к моему отцу по делу. Пока отец в спальне переменял халат и туфли на башмаки и сюртук, я оставался со стариком один в гостиной и воспользовался этим случаем для того, чтобы проинтервьюировать предполагаемого бывшего пирата.

— Говорят, вы когда-то были очень гадким. Правда это? — приступил я прямо к делу, подчеркнув слова «когда-то», чтобы доказать, что я не намерен трогать настоящего.

К немалому моему удивлению, по иссохшему лицу старика пробежало облако смущения, и с его крепко сжатых губ сорвался не то стон, не то сухой, отрывистый смех.

— Да, мой мальчик, — сказал он, погладив меня по голове, — в свое время я был порядочным расточителем.

Слово «расточитель» поразило меня. До сих пор я под этим словом подразумевал такого великодушного человека, который всегда готов на выручку тех, у кого не хватает в кармане; приходилось слышать, как у нас старшие говорили о ком-нибудь,

что он «все свое состояние расточил на бедных», — стало быть, такой человек не может быть дурным. И вдруг тот, которого все обвиняли в чем-то очень дурном, смущенно сознается, что он был расточителем! Такого отношения я не мог понять. Но, оставив разъяснение этого недоумения до другого раза, я продолжал свой допрос:

— Ну а теперь вы хороший, да?

— Да, — грустно промолвил старичок, преуморительно кивая при этом своей крохотной головою, словно птичка, — теперь я другой. Я точно головешка, которой не дали догореть.

— А правда, что хорошим вас сделала ваша жена? — с чисто детской беспощадностью приставал я.

При упоминании о его жене старик весь искажился, торопливо оглянулся кругом, чтобы удостовериться, что, кроме меня, никто больше не может услышать его, и шепнул мне на ухо следующие слова, навсегда врезавшиеся в мою память, потому что очень уж искренно они были сказаны:

— Я бы снял с нее живой шкуру, если бы только мог!

Даже в дни ограниченности моего суждения эти слова, а, главное, вид и тон говорившего их, заставили меня содрогнуться от ужаса и сильно поколебали мою веру в человеческое духовное возрождение.

Природные задатки в человеке, в животном или в растении можно развить или заглушить, но *изменить* нельзя.

Вы можете взять маленького тигренка и воспитывать его, как котенка, и пока он еще мал и беспомощен, он будет лизать вам руку, мурлыкать и перекатываться с боку на бок пред вами, точно, действительно, кошка; но дайте ему подрасти и почувствовать свою силу, и вы увидите, что он как родился тигром, так и останется им до конца своей жизни, что бы вы с ним ни делали.

Можете также взять обезьяну и в тысяче поколениях «развивать» ее и видоизменять до того, что она делается бесхвостой и достигнет степени обезьяны высшей породы. Можете продолжать это развитие и дальше в новых тысячах поколениях; быть может, вам удастся вызвать в ней высшие понятия и способности; быть может, даже доразовьете ее до отвлеченного мышления, а все же, в сущности, добьетесь того лишь, что она будет сознательнее относиться к своим поступкам и уметь обуздывать свои инстинкты путем рассуждения. Но обезьянья природа нет-нет да и скажется в ней, и вы ничего с ней не подаете.

Когда-то я знал, или, вернее, слышал об одном записном пьянице. Он предавался своему пороку не по слабости воли, но по своему хотению. Когда кто-нибудь старался его образумить, он

гнал его к черту и продолжал свое. Но когда же ему представлялся интерес воздерживаться от питья, он отлично воздерживался целыми годами; но как только миновала в этом надобность, он снова принимался за бутылку.

Лет десять подряд он ни разу не лег в постель трезвым; но вот вдруг явилась для него необходимость воздержания, и он сумел выдержать себя в течение целых двадцати с лишним лет. По прошествии этого времени в его делах произошел такой переворот, что он нашел нужным покончить все расчеты с жизнью.

Было четыре часа пополудни, а в одиннадцать вечера все должно было быть окончено. В этот промежуток ему следовало написать несколько писем и привести в порядок дела. Покончив с этим, он нанял кэб и поехал в одну из маленьких гостиниц ближайшего предместья, занял там номер и заказал тот самый, приготовлявшийся по особому рецепту пунш, которым он напился в последний раз более двадцати лет тому назад. Пил он целых три часа почти без передышки, имея пред собою на столе свои часы. В половине одиннадцатого он позвонил, расплатился по счету, поехал опять домой и там, в своем обширном деловом кабинете, перерезал себе бритвою горло...

Почти четверть века этот человек прославлялся как один из самых видных примеров «внутреннего перерождения»; на самом же деле этого перерождения не было, да и быть не могло. Каким этот человек родился, таким ушел и в могилу. Влечение к беспробудному пьянству никогда не покидало его; он имел лишь настолько силы воли, чтобы в продолжение двадцати с лишним лет обуздывать это влечение; когда же для него все было потеряно и ему не к чему стало больше сдерживать свои инстинкты — они сразу проявились в нем во всей их прежней силе, и, останься он жив, они все равно довели бы его до гибели.

Так и каждый человек. Он может лишь сдерживать себя, но не перерождаться, и все разговоры о якобы в корень изменившихся характерах — пустая болтовня. Во всяком случае лично я, приглядевшись к людям, никогда не придаю значения разглагольствованию на эту тему, а помню слова одного старого проповедника.

— Друзья мои! внутри каждого из нас сидит дьявол — и во мне и в вас! — кричал этот старик, возбужденно блестя глазами. — Согласитесь, что это правда.

— Правда, суцая правда! — неслось ему в ответ.

— И вы не можете с ним справиться... — продолжал старик.

— Собственными силами не можем, но надеемся, что нам

поможет в этом Господь! — раздался голос из толпы слушателей.

Старик с живостью обернулся в сторону этого голоса и горячо крикнул в ответ:

— Господь не захочет помочь вам в этом! Каждый сам должен стараться изгнать из себя дьявола, и если бы это удалось ему — в этом и была бы его заслуга; если же это сделает для вас Господь, то в чем же ваша заслуга? Нет, на Бога тут нечего и надеяться. Пусть каждый сам борется с сидящим в нем дьяволом и побеждает его. Беда только в том, что никто серьезно не хочет этого сделать, сжившись с своим врагом...

Я привел все это рассуждение в связи с обсуждавшимся нами — мною и моими сотрудниками — вопросом о выборе героя. Мы с Джефсоном и Мак-Шонесси находили, что в герои нашей повести нужно взять закоренелого злодея, как отпугивающий пример для мужчин и как поучительный — для тех чистых женских сердец, которые готовы видеть в каждом человеке ангела, если только он умеет хорошо притворяться.

Браун оставался при особом мнении: он полагал, что если и взять злодея, то необходимо повести дело так, чтобы с половины повести он был поставлен в такие условия, которые заставили бы его понять всю свою отвратительность, пожелать во что бы то ни стало исправиться и огромною силою воли достичь успеха, то есть полного духовного перерождения.

По этому поводу у нас, как всегда, завязался спор, и я разразился вышеприведенным примером неисправимого пьяницы. В ответ на это Мак-Шонесси рассказал об одном человеке, который будто бы на его глазах превратился из отъявленнейшего негодяя чуть не в святого, и этим человеком, по дальнейшим его разъяснениям, оказался он сам.

Я поддерживал свое убеждение, что если в нем действительно произошла такая перемена, какую он находит в себе, то опять-таки в этом можно видеть лишь действие его собственного понимания, что он нехорош, и сильное напряжение воли казаться другим, переродившимся к лучшему.

— Разумеется, это делает тебе честь, — заключил я, — но возможности «перерождения» вовсе не доказывает. Потом я не верю, чтобы ты когда-нибудь был злым и способным на гадости; просто-напросто, ты довольно легкомысленный малый, поэтому всегда можешь принести вред другим, даже не сознавая этого.

Мак-Шонесси покраснел, поморщился, передернул плечами, но ничего не возразил. Браун заступился за нашего общего друга и сказал, что если он иногда и подводит других, то единственно по своей доброте, которая не поддается контролю холодного рассудка.

— Разве ты совсем не признаешь возможным, чтобы человек был способен переродиться вследствие какого-нибудь хоть внешнего толчка, который заставил бы его устыдиться и решиться переделаться? — спросил он меня.

— Признаю, — ответил я, — но вместе с тем утверждаю, что золото и в огне остается золотом, а медь — медью. Они могут очищаться, могут и загрязняться, но все это будет лишь внешним, внутренняя же их сущность останется всегда неизменной.

Джефсон высказал ту мысль, что человеческий характер — это своего рода яд или эликсир, составляемый каждым для самого себя из всех тех элементов, которые входят в жизнь, и что изменить этот эликсир нельзя; его можно только выбросить вон из пробирки и составить другой, по новому уж рецепту.

— Это и будет то самое, что называется перерождением, — продолжал он. — Элементы-то, может быть, и остаются прежними, но войдут в другие соединения и в других пропорциях — вот и выйдет нечто другое. Могу пояснить свой взгляд примером.

Я лично встречал одного человека, который казался мне совершенно «перелицованным» после одного случая, до мозга костей потрясшего все его существо. Это был школьный товарищ моего младшего брата, и я часто с ним встречался.

Но вот года три я не видал его, — он куда-то уезжал, и когда судьба вновь столкнула меня с ним, то я едва мог узнать его. Из человека крайне раздражительного, своевольного и деспотического он превратился в тихого, сдержанного, вдумчивого и мягкого.

Однажды мы с ним совершали загородную прогулку и на дороге увидели взрослого свирепого вида парня, который науськивал на маленького ребенка большую собаку. Животное, по-видимому, было умнее его и не слушалось его науськиваний на беззащитное существо. Не говоря ни слова, мой спутник, отличавшийся необыкновенной физической силой, схватил этого негодного шалопая за шиворот, дал ему здоровую встряску, потом швырнул на землю и тут только проговорил глухим от негодования голосом:

— Вот тебе на память вроде того, чего ты желал этому ребенку!

— Однако и проучили вы его; действительно, долго будет помнить, — заметил я, когда мы пошли дальше, а за нами раздавался отчаянный рев жертвы его гнева. — Но, позволю себе заметить, что вы чересчур уж сурово с ним поступили: могли его искалечить.

— Ничего, останется цел! — отозвался мой спутник. — Я

соразмеряю свою силу. Этому негодяю только довольно чувствительно. Но так и нужно; пусть он сам испытает то, что готовил другому.

Дорогою он рассказал мне случай, заставивший его смотреть на вещи совсем другими глазами, чем он смотрел раньше. Дело было в том, что ему, как специалисту, было предложено взять в свои руки обширную чайную плантацию в Южной Индии. Условия были великолепные, перемены климата он не боялся, перспектива иметь дело с целой армией темнокожих, которыми возможно управлять только внушением страха, доставляла ему даже удовольствие, а опасностей он никаких не боялся.

Одно лишь обстоятельство могло бы заставить его уклониться от этого предложения. Это обстоятельство заключалось в том, что у него была жена, нежная, кроткая и робкая молоденькая женщина, — из тех, для которых смерть легче, чем опасность, и самая горькая судьба предпочтительнее одной боязни ее. Такие женщины в ужасе бегут при виде мыши или паука, но спокойно пойдут на мученичество, если это нужно для спасения другого или для торжества идеи. Когда нет ничего такого, что давало бы подъем их душевным силам, нервы их трепещут перед всякой обыденщиною.

Если бы муж хоть на минуту принял в расчет особенности своей слишком, так сказать, тонкострунной жены, сообразил бы, что она совершенно не приспособлена к той полной всяких неудобств и случайностей жизни, на которую он шел, то, наверное, отказался бы от переселения на индийскую плантацию. Но у него не было привычки считаться с другими, даже близкими ему людьми, когда дело шло о его собственных интересах.

Он горячо любил свою жену, но по-своему, как предмет, принадлежащий ему и существующий единственно для его комфорта, как любил преданную ему собаку, готовую пожертвовать за него жизнью и которую он беспощадно бил по малейшему капризу, или как тех лошадей, которыми он гордился, а потом совершенно зря загонял до смерти.

Ему никогда и в голову не приходило спрашивать мнения жены в каких бы то ни было делах, поэтому он не посоветовался с ней и относительно поездки в Индию, а лишь оповестил жену, что в такой-то день они сядут на пароход, чтобы ехать на Восток. При этом он вручил ей чек на крупную сумму, чтобы она могла закупить себе всего, чего захочет, и сказал, что если не хватит, то добавит еще сколько нужно, и чтобы она не стеснялась в расходах.

Жена, любившая его тоже с чисто собачьей привязанностью, такой вредной для его характера, ограничилась тем, что только

шире обыкновенного раскрыла свои большие сияющие голубые глаза, но ничего не возразила. Наедине сама с собою она много думала о предстоящей перемене и потихоньку горько плакала. Заслышав же шаги мужа, она торопливо уничтожала следы слез и встречала его с ясною улыбкою.

Когда они очутились в новых условиях жизни, нервозность и боязливость жены, дававшая мужу повод и раньше высмеивать ее, стали уж прямо раздражать его. Жена, которая падала в обморок при реве зверя, раздававшемся за милю от нее; бледнела как смерть, когда, оглянувшись в темноте, замечала пару горящих глаз, устремленных на нее из-за ветвей растущего вокруг веранды кустарника, и окончательно теряла самообладание при виде змеи, хотя бы и самой безобидной, — казалась ему неудобной при необходимости жить по соседству с индийскими джунглями.

Сам он решительно ничего не боялся и не мог понять, как могут бояться другие. Он считал это привередливостью и жеманничаньем. Он, подобно большинству мужчин его чеканки, был убежден, что женщины только потому нервничают, что воображают, будто это делает их более интересными, и что если хорошенько повлиять на них в смысле «образумливания», то они так же быстро оставляют скверную привычку разыгрывать из себя трепещущую лань, как перестают семенить ножками и говорить пискливыми птичьими голосками, когда их пристыдят в этом.

Человек, хвалившийся своим глубоким проникновением в природу людей, как делал этот человек, должен бы лучше быть осведомленным относительно сущности нервозности, которая зависит от темперамента. Но в том-то и была беда, что он только мнил себя знающим что-нибудь в области тонкости ощущений и восприятий.

Всего больше досадовал его трепет жены перед змеями. Живая тварь, ползущая по земле на брюхе, была для него нисколько не страшнее ходящей на двух их четырех ногах, даже менее опасной; ему было известно, что пресмыкающееся само избегает близости человека и бросается на него лишь в виде самообороны против него. И он успокаивался на этом. Такое знание было им вычитано из популярных книг по зоологии, поэтому он считал это неопровержимой истиной. Многие люди дальше этих книг не идут. Не шел и он. Впрочем, раз он даже сам сделал опыт с одной змеей, подтвердивший ему, по его мнению, его книжное знание. Однажды он заметил у своих ног кобру, нагнулся над нею и пристально взглянул прямо ей в глаза сквозь свои сверкающие в солнечном сиянии выпуклые очки, и змея тотчас же поспешно отползла от него. После этого он окончательно убедился в безвредности змей и решил отучить

жену от глупой, по его мнению, боязни этих «совсем безобидных и трусливых» существ. Как-то раз вечером он ехал домой с плантации и вдруг, неподалеку от своего бунгало, услышал возле самого уха тихий свист. Оглянувшись, он увидел, что с ветвистого дерева, под которым он в это время проезжал, свешивается огромный питон, очевидно, намеревавшийся броситься прямо на него. Испуганная лошадь взвилась на дыбы, но он грозным окриком заставил ее присмиреть и, прицелившись из карабина (он был превосходным стрелком), одним выстрелом уложил змею на месте. Он угодил ей как раз в место соединения позвоночника с головой, что случается довольно редко даже с самыми опытными стрелками. Нагрузив мертвое тело змеи на седло, он спокойно продолжал путь и через несколько минут без всяких дальнейших приключений был уже дома.

Сначала он хотел отдать эту змею одному туземцу, отлично умевшему выделывать разные красивые вещи из змеиных шкур, но потом, дорогою, глядя на извивавшееся перед ним от быстрой езды, как живое, чудовище, он передумал. У него вдруг блеснула мысль посредством этой мертвой змеи раз навсегда отучить жену от боязни пред пресмыкающимися. Он решил все устроить так, чтобы жена, увидев эту змею, приняла ее за живую и пришла в ужас; а потом он покажет ей, что она испугалась, так сказать, одной шелухи, устыдится своих пустых страхов и перестанет бояться.

Вернувшись домой со стороны двора, он потихоньку протащил змею в свой кабинет и уложил ее так, словно она вползает в открытое окно, за которым остался только ее хвост, а голова протянулась до самой входной двери; таким образом каждый входящий в кабинет должен был сразу увидеть змею. Потом он взял книгу и бросил ее открытою на кушетку, затем вышел в уборную, умылся, переоделся и направился в столовую. После обеда он закурил сигару и с улыбкой спросил жену:

— Ты не устала, дорогая?

— Нет. А что? — встрепелась молодая женщина. — Что я должна для тебя сделать? Ты знаешь, я всегда с удовольствием...

— Я хотел попросить тебя принести мне сюда книгу, которую я утром оставил в кабинете на кушетке. Я сам так устал, что едва двигаюсь.

— О, сейчас!

Жена вскочила и со свойственной ей живостью побежала в кабинет. Глядя ей вслед, он любовался на ее прелестную гибкую фигуру, вспоминал ее светлую улыбку, ясный взгляд ее прекрасных лучистых глаз, ее всегдашнюю покорность и нежность и почувствовал, что, пожалуй, подвергает ее слишком тяжелому

испытанию. Но тут же сказал себе, что делает это для ее же собственной пользы, и успокоился на этом.

Прислушиваясь к ее замирающим по длинному коридору легким шагам, он самодовольно улыбался, рисуя себе все дальнейшее в самом розовом свете.

Он слышал, как дверь кабинета отворилась и опять затворилась, и продолжал улыбаться, спокойно докуривая свою сигару. Прошло несколько минут, которые показались ему очень долгими. Разогнав сизое облако табачного дыма, он напряженно прислушивался, и, наконец, услышал тот отчаянный крик, который и ожидал услышать. Потом стал ожидать, что дверь кабинета снова с треском растворится и по коридору раздадутся шаги бегущей жены. Но вместо этого до него донесся второй крик, еще громче и пронзительнее первого, потом еще и еще... улыбка сбежала с его губ, но он все еще продолжал сидеть на месте, ожидая, что вот-вот прибежит жена и в слезах бросится к нему на шею. Тогда он начнет ее успокаивать, утешать и «образумливать», и все будет хорошо: у его милой женушки окрепнет дух, и она исцелится от своей глупой нервозности.

Служанка, молодая туземка, вошедшая в столовую, чтобы убрать со стола и услышавшая доносившиеся из кабинета крики, хотела было броситься туда, но хозяин остановил ее.

— Ни с места! — властно крикнул он. — Я знаю, чего испугалась твоя госпожа. Пусть ее. Это принесет ей пользу. Перестанет вечно бояться...

Слова его вдруг были прерваны душоу потрясающим воплем, после чего все затихло. И из бездны внезапно наступившего жуткого безмолвия в душу этого безбоязненного человека в первый раз прокрался ужас. Он и служанка обменялись беглым взглядом, в котором было одно и то же выражение, и оба машинально поспешили туда, где вдруг наступило это страшное подавляющее безмолвие.

Когда муж отворил дверь в свой кабинет, то увидел следующую картину. Мертвая змея лежала так, как он сам положил ее, но возле нее шевелилась другая змея, живая, наверное ее подруга, сумевшая отыскать ее. В мощных объятиях второй змеи лежало задушенное тело жены...

Он опомнился только несколько недель спустя, в чужом доме, где за ним заботливо ухаживали. Но туземная служанка рассказывала, что прежде чем с дикими воплями ужаса выбежать из дома хозяина за помощью, она видела, как он набросился на живую змею, схватился с нею и, вырвав у нее тело жены, задушил чудовище своими сильными руками. Когда прибежали позванные служанкою люди, они застали хозяина замершим на трупе своей

жены.

Вот тот случай, который заставил этого человека изменить свой характер, а может быть, по-твоему, хотя бы сдерживать самые резкие его проявления. Он не щадил себя, передавая мне свою историю. Когда он кончил, я спросил его, как может он отважиться воскрешать это в своей памяти.

— Воскрешать?! — воскликнул он. — Я вовсе не воскрешаю этого: оно всегда живет во мне.

В следующий раз мы заговорили о преступлениях и преступниках. Мы обсуждали вопрос: не лучше ли обойтись в нашей повести без злодея в качестве героя? Но опять-таки пришли к заключению, что тогда повесть будет лишена интереса.

— Грустно подумать, — заговорил Мак-Шонесси, — как было бы плохо жить в этом мире нашему брату, писателю, если бы не было злодеев. Я каждый раз трепещу, когда слышу, что есть люди, которые собираются исправлять человечество. Уничтожьте грех, — тогда прощай наша литература! Без преступных элементов мы, писатели, должны будем умирать с голода.

— Не бойся, коллега, — успокоительно произнес Джефсон, — с самого начала мироздания одна половина человечества старается исправлять другую, но пока ничего еще не выходит. На земле так еще много «слишком человеческого», что хватит, пожалуй, и до самого «светопреставления». Уничтожать грех — то же самое, что гасить вулкан: один кратер погасят, — откроется десять новых. Материала для наших писаний хватит еще надолго.

— Не могу разделять твоего оптимистического взгляда, — возразил Мак-Шонесси. — Мне кажется, что таких преступлений, которые стоило бы описывать, становится все меньше да меньше. Так, например, пираты и придорожные грабители почти совсем вывелись из нашего обихода. Старый контрабандист Билл куда-то спрятался. Вербовщики, которые раньше так часто являлись на выручку герою, чтобы спасти его от нежелаемой им женитьбы, тоже исчезли со сцены. В прибрежных зарослях более уже не укрываются люггеры, экипаж которых подкарауливает молодых красавиц, чтобы похитить их и увезти за тридевять земель. Оскорбленные восстанавливают свою поправленную честь не со шпагой в руке, а в судебном зале, и если возвращаются оттуда домой ранеными, то разве только — в карман. Нападения на женщин совершаются теперь только в трущобных улицах, куда честной женщине незачем и показываться, и отомщаются магистратом. Наши современные ночные воришки обыкновенно вербуются из числа попрошаек, и их добыча состоит по преимуществу в куртке и паре сапог, за присвоение которых они и ловятся служанкою. Убийства становятся все реже и реже, так что, при прогрессе этой убыли, можно ожидать, что лет через десять случаи насильственной смерти совсем исчезнут и истории об убийствах будут осмеиваться как совершенно невероятные. Уверяю вас, что мало-помалу у нас вырвутся из рук все средства к существованию, и если мы не образуем союза для самообороны,

то скоро все погибнем.

Речь Мак-Шонесси была приноровлена к тому, чтобы огорчить и надолго расстроить Брауна, и вполне попала в цель. Браун в то время был серьезным молодым человеком, но отличавшимся сильно преувеличенным взглядом на значение и достоинство литературы. Он был уверен, что Бог создал мир лишь с той целью, чтобы людям, страдающим зудом литераторства, было о чем писать. В те дни я готов был признать оригинальность его мысли, но когда сделался постарше, то понял, что эта мысль слишком уж парадоксальна.

— Однако, — обратился Браун к Мак-Шонесси, — ты рассуждаешь так, словно литература является паразитом зла.

— А разве это не правда? — с горячностью подхватил Мак-Шонесси. — Что станет с литературой, если она не будет иметь возможности питаться сумасбродством и грехом? Разве литератор не создает себе жизни из смеси человеческих преступлений и горестей? Представь себе вполне совершенный мир, то есть такой мир, где ни один взрослый человек никогда не говорит и не делает глупостей; где подростки не совершают разных «шалостей» и маленькие дети не делают смущающих нас замечаний; где собаки и кошки не дерутся между собою; где жены не держат под башмаком своих мужей; где свекрови и тещи не грызут своих невесток и зятьев; где мужчины никогда не ложатся спать в сапогах; где морские капитаны не ругаются и не клянутся; где каждый знает свое дело; где старые девы не одеваются девочками, — к чему в таком мире твой юмор и твое остроумие? Представь себе, далее, мир, где нет разбитых сердец; где не сжимаются в тяжелых муках уста; где не затуманиваются слезами очи; где не корчатся пустые желудки, — к чему тогда твой пафос? Представь себе еще, что в этом мире каждый мужчина всю жизнь любит только одну женщину и непременно такую, которая этого стоит; что у всех чистые сердца и помыслы; что нет ни зависти, ни ненависти, ни извращенных желаний, — к чему тогда твои описания страстных сцен, твои захватывающие осложнения, твой тонкий психологический анализ и все прочие твои потуги на эффекты?

— Ах, дорогой Браун, — сокрушенным и медоточивым голосом продолжал Мак-Шонесси, едва сдерживая улыбку злорадства, — как ты ни вывертывайся, а должен признать тот неоспоримый факт, что все мы, писатели, существуем исключительно благодаря недостаткам и страданиям нашего ближнего.

— Все это верно, — вмешался Джефсон. — Но не следует забывать и того, что не одни литераторы строят свое

благополучие на мировом зле. Едва ли стали бы приветствовать царствие небесное на земле врачи, юристы, издатели газет и даже предсказатели погоды. Никогда не забуду анекдота, который я слышал от своего дяди, бывшего капелланом при земской тюрьме.

Однажды утром предстояла казнь преступника через повешение, и обязанные присутствовать при этой процедуре лица — шериф, начальник тюрьмы, магистратский чиновник, несколько сторожей и, конечно, неизбежные репортеры — собрались к месту казни.

Преступник, грубый человеческий выродок, со свирепой физиономией — он убил молодую девушку при самых возмутительных обстоятельствах — был подведен к виселице, и мой дядя подошел к нему, чтобы проникновенным словом воздействовать в этот торжественный момент на душу нераскаявшегося грешника. Но тот только взглянул на него исподлобья таким взглядом, точно хотел схватить его за горло, но ничего не сказал. Тогда приступил к нему начальник тюрьмы и также попробовал указать ему на то, что если он перед смертью не примирится с своей совестью, то... Ну, известно, что говорится в таких случаях. Впрочем, преступник сам не дал начальнику договорить до конца, а после первых же слов цыкнул на него:

— Убирайтесь вы к черту с своими нравоучениями! Кто вы такие сами-то, что беретесь мне проповедовать? Вы ведь довольны, что я иду на виселицу, так чего же лицемерите, будто вам уж очень жаль меня? Ведь не будь таких, как я, что бы тогда пришлось делать таким ожиревшим святошам, как вы?

И, добавив еще несколько фраз, неудобных к передаче, он повернулся к палачу с требованием, чтобы тот поскорее покончил с этой «глупой комедией» и не задерживал бы зря джентльменов, желающих поплотнее покушать.

— Оригинальный субъект, — заметил Мак-Шонесси.

— Да, и довольно остроумный, — добавил Джефсон.

Мак-Шонесси обдал облаком дыма паука, собиравшегося броситься на дремавшую муху; паука с испуга упал в воду, где тотчас же был подхвачен ласточкой, промышлявшей себе ужин.

— Джефсон напомнил мне одну сцену, свидетелем которой я был лично в редакции одной газеты, — начал Мак-Шонесси, задумчивым взглядом следя за предприимчивою ласточкой. — Стоял «мертвый» сезон, и текущий материал был пресноват. Ввиду этого было решено «оживить» газету всесторонним освещением вопроса, действительно ли дети являются благословением Божиим. Младший репортер, писавший по этому животрепещущему вопросу большую статью под трогательным

заглавием «Мать шести», очень горячо, хотя и не совсем кстати, напал на мужей как на особый класс. Редактор спортивного отдела, подписавшийся под псевдонимом *Труженник*, трудился в поте лица над приданием некоторой правдоподобности одной чересчур уж фантастичной корреспонденции, причем устраивал удивительно замысловатые ошибки по правописанию, между тем как один из сыновей издателя приводил в порядок ночной бред, который должен был послужить косвенною лестью «демократии», составлявшей главный оплот газеты. Рецензент художественного отдела, подписавшийся *Джентльмен и христианин*, силился доказать что-то особенно убедительное в пользу материнской любви; а один совсем еще безусый юноша, состоявший в родственных отношениях с изобретателем особой соски для грудных младенцев, в самых ярких красках живописал эту соску, уверяя почтенную публику, что от применения этого гениального изобретения зависит вся будущность подрастающих поколений.

Вообще, весь наличный состав редакции работал вовсю, едва сдерживая зевоту от скуки. Не хватало главного, ободряющего, вроде войны, голода, землетрясения и прочих тому подобных «интересных» новостей.

Но вот вдруг влетает старший репортер. Весь красный и запыхавшийся, он с торжествующим видом потрясает записной книжкой и кричит хриплым голосом:

— Скорее бумаги, чернил и перо! Ради бога, скорее!

— Что случилось? — спрашивает редактор. — Эпидемия инфлюэнции или...

— Кое-что получше эпидемии! — прерывает репортер. — Разбился о подводный утес экскурсионный пароход. Сто двадцать пять человек погибших. На четыре столбца потрясающих сцен.

— Вот благодать-то! Как раз вовремя! — радостно потирая руки, говорит редактор. — За это вам и авансик можно будет дать.

И тут же сам принимается набрасывать на длинной и узкой полоске бумаги маленький передовичок, в котором проливает потоки крокодиловых слез по поводу того, что на его долю выпал тяжелый жребий оповестить своих дорогих читателей о прискорбном событии, детали которого изложены на страницах газеты «нашим талантливейшим» сотрудником, мистером таким-то.

Большой тираж был обеспечен, по крайней мере, на неделю, и сознание этого привело всю приунывшую было редакцию в самое возбужденное веселое настроение.

— Да, таков уж закон природы, что несчастье одних служит источником радости для других, — философски заметил

Джефсон. — Не мы первые приходим к этому печальному выводу.

Между тем и мне припомнился один случай, о котором я слышал от сиделки, ухаживавшей за мною во время моей болезни.

Если сиделка, практиковавшая несколько лет, не может заглянуть людям в душу глубже всей нашей писательской братии, то она должна быть совсем слепой. Каждый человек — артист на мировой сцене, и, пока здоров, так хорошо играет назначенную ему роль, что даже отождествляет себя с нею. Но лишь только нас захватывает в свои когти болезнь, мы выпадаем из своей роли и относимся совершенно равнодушно к тому впечатлению, какое производим на зрителей. Нам уж неохота надевать костюм, накладывать на лицо грим, выделять красивые жесты и выражать героические порывы или сентиментальные чувства. Лежа в тихой, затемненной комнате, где нам не режет глаз ослепительный свет рамп, куда не проникает шум огромной театральной залы, где наше ухо не вынуждено напряженно прислушиваться к рукоплесканиям и свисткам публики, — только тут мы и бываем сами собою.

Сиделка, о которой я говорю, была скромная и тихая пожилая женщина, с мечтательным взглядом мягких серых глаз, обладавших способностью все видеть, не давая понять, что они смотрят.

Когда я под ее умелым и заботливым уходом начал поправляться, но еще не мог покидать постели, сиделка каждый вечер занимала меня рассказами из своей практики. Мне часто хотелось записать ее рассказы, но я находил, что они слишком грустны и едва ли могут понравиться публике. Притом в них много не особенно лестного для человеческой природы, а это могло дурно подействовать на не окаменевшие еще сердца. Некоторые из рассказов были так трогательны, что невольно заставляли плакать, а некоторые могли вызвать и смех, но смех нездоровый.

Между прочим сиделка однажды говорила мне:

— Никогда я не переступаю нового порога к больному без того, чтобы не задать себе вопроса, какая еще человеческая тайна откроется передо мною. Я всегда чувствую себя в комнате больного, как за кулисами человеческой жизни.

Тот случай, который я хочу рассказать, был сообщен мне сиделкой в один вечер, когда я, сидя возле огня, небольшими глотками пил портвейн и чувствовал себя удрученным тем, что потерял вкус к этому вину.

— Однажды, — начала свой рассказ сиделка, — я была приглашена к человеку, которому предстояло подвергнуться

хирургической операции. Это было в первый год моей практики, я была неопытна и сделала ошибку, не в смысле моей профессии, но все же такую, за которую потом мне пришлось перенести сильную душевную муку.

Мой пациент был молодой, красивый мужчина, с приятным выражением лица. Его жена была тоже молодая и довольно красивая женщина, только с чем-то таким, что оттолкнуло меня от нее при первом же взгляде. Замкнутая, холодная и чересчур спокойная, она производила впечатление человека, с самого уже рождения лишённого всяких живых чувств. По-видимому, однако, эти муж и жена любили друг друга; по крайней мере, они очень нежно разговаривали друг с другом, — нежнее даже, чем это бывает при искренней привязанности, как я поняла после, когда набралась житейского опыта.

Операция была из тяжелых и очень опасных. Когда она была окончена, у пациента, как водится, к ночи поднялась температура, несмотря на принятые меры, и он стал бредить. Я добросовестно исполняла все предписания врача, но ничто не помогало. Бред становился бурным. Больной страшно метался и почти безостановочно выкрикивал что-то бессвязное. Он часто поминал «Луизу» и звал ее к себе. Насколько я могла понять, бред больного вертелся вокруг того, что кто-то хочет столкнуть его, а потом уж и столкнул в нарочно вырытую для него яму, и он умолял бросившую его «Луизу» вернуться и помочь ему выбраться из этой ямы. Он укорял «Луизу» в том, что она ушла от него, выражая уверенность, что если бы она протянула ему руку, то он был бы спасен, и удивлялся, почему она не хочет сделать этого.

Я не знала имени его жены, но, разумеется, думала, что он бредит именно о ней, и, желая оказать ему услугу, побежала отыскивать его жену. Уходя час тому назад из дома, она сказала мне, что идет в приходскую церковь, где было вечернее собрание. Туда я и направилась, посадив вместо себя на время своего отсутствия горничную. Я застала жену больного на коленях и, видимо, всецело погруженную в молитвенный экстаз. Потихоньку окликнув ее, я шепнула ей на ухо:

— Пожалуйста скорее к вашему супругу. Он в сильном бреду и все время зовет вас.

Не поднимая головы, она так же тихо ответила мне:

— Собрание кончится через полчаса, тогда я и приду.

Этот ответ удивил и возмутил меня.

— Вы поступите более по-христиански, если сию же минуту вернетесь со мной в дом! — резко возразила я. — Тут обойдутся и без вас, а ваш муж почти при смерти.

— Разве он действительно зовет меня? — с подчеркиванием

спросила она, на этот раз повертывая ко мне холодное и неподвижное лицо.

— Да, — подтвердила я, — он все время зовет Луизу.

Лицо ее было в полутени, но вдруг на него упал свет от большой свечки, которую в это время проносил мимо нас один из местных служителей, и мне показалось, что по ее губам промелькнула усмешка.

— Хорошо, я иду с вами, — немного поразмыслив, сказала она, и поднялась с колен.

Дорогою она расспрашивала меня, узнают ли находящиеся в бреду больные окружающих. Припоминают ли они что-нибудь действительное, или им в голову лезет одна чушь? Можно ли по бреду узнать их настоящие мысли и чувства. По своей неопытности я не могла давать ей удовлетворительных ответов, и она с досадой отвернулась.

Сбросив в передней шляпу и накидку, она быстро поднялась наверх, в комнату больного. Она долго простояла над мужем, который продолжал метаться и бредить, но имени пока никакого не упоминал. Я посоветовала жене постараться дать ему понять о ее присутствии, но она возразила, что это, по-видимому, будет бесполезно, и села немного в стороне от постели больного. Начиная догадываться, что, пожалуй, ему будет хуже, если он придет в себя и увидит жену, я пыталась уговорить ее уйти из комнаты, но она твердо заявила, что желает остаться, и я не смела настаивать. Больной бредил всю ночь и все чаще и чаще умолял «Луизу» вернуться к нему и спасти его.

И всю ночь жена с неподвижностью статуи оставалась сидеть в тени, с такой улыбкой на губах, которая вызывала во мне страстное желание схватить эту женщину за плечи и встряхнуть из нее душу.

Под утро больной заговорил более связно:

— Луиза, ведь ты любишь меня, да?.. Любишь, любишь... я читаю это в твоих глазах... И зачем скрывать свои чувства?.. Обними меня... дай мне почувствовать твое дыхание на моей щеке...

Я понимала, что мне не следовало бы слушать этих интимных излияний, но мне нельзя было ни уйти от пациента, ни заткнуть себе уши. Я каждые десять минут меняла ему холодные компрессы на голову, и временами он немного затихал, но потом с новою силою начинал бросаться по постели из стороны в сторону, срывая с себя одеяло, стонать и кричать.

— Я выеду в понедельник утром, — вдруг заговорил он почти нормальным голосом, — а ты выезжай в среду. Найдешь меня в Дублине, в гостинице Джаксона. Потом мы отправимся дальше

уже вместе... Нет, нет, не бойся! — продолжал он, помолчав немного и как будто прислушавшись к чужой речи. — То местечко совсем в глуши, и туда никто никогда не заглядывает, кроме своих обитателей. Там нас никто не знает, и мы три недельки проведем с тобой, мое божество, совершенно наедине... О, какое счастье... какое безмерное счастье! О, моя милая, дорогая, ненаглядная Луиза, как я люблю тебя... как беззаветно люблю! О, какое нас ожидает блаженство!

Он засмеялся тихим смехом человека, который видит перед собою рай. Сухой, ядовитый смешок раздался и с уст его жены. Вот тут-то вдруг я прозрела всю истину. Подбежав к этой злой женщине, я крепко схватила ее за руку и, пристально глядя ей в глаза, возбужденно спросила:

— Вас зовут не Луизой?

Конечно, я поступила грубо и дерзко, но не могла иначе, потому что в то время не привыкла еще сдерживать своих чувств.

— Да, это не мое имя, — спокойно ответила жена больного. — Луизою зовут одну из моих пансионских подруг, которую я очень любила. Но вы, моя милая, напрасно тревожитесь. Я в эту ночь нашла, наконец, ключ, которого напрасно искала целых два года... Теперь иду спать. В случае чего — вы понимаете? — разбудите меня.

Она встала и ушла, и я слышала, как она своею неторопливою, размеренною походкой проследовала на другой конец коридора, где была ее комната. Я открыла оконную ставню и впустила утренний свет.

— Я первому вам рассказываю эту историю, — с улыбкой добавила сиделка. — Нам, по нашей профессии, не полагается болтать и открывать чужие тайны. Но это было давно и, наверное, уже позабыто и самими действующими лицами.

Передохнув, я рассказал своим друзьям и «сотрудникам» еще одну историю, переданную мне той же сиделкою. Героями этой новой истории были также муж и жена, недавно только отпраздновавшие свою свадьбу. Они отправились было путешествовать по континенту, но едва попали туда, как почувствовали себя дурно и немедленно вернулись обратно. С трудом добравшись до дому, они оба свалились в постель.

Врачи констатировали у них тифозную горячку, и удивлялись, как они оба не свалились еще дорогою. Призвали сиделку, которая взялась ухаживать за ними обоими сразу. Их поместили в двух смежных комнатах, оставив открытою соединительную дверь.

— Бедняжки! — говорила сиделка, описывая этих людей; — они были почти еще дети и думали больше друг о друге, чем о

самих себе. Жена все тревожилась, что не может сама ухаживать за «бедным Джеком», и умоляла меня быть к нему доброю; голосок ее срывался от волнения, а по щекам миловидного детского личика текли слезы. Джек, с своей стороны, просил меня не очень беспокоиться о нем, а ухаживать повнимательнее за его «дорогой Беллой».

— Мне помогала сестра жены. Но даже и вдвоем мы едва могли управляться с больными. Несколько ночей подряд мне не пришлось совсем спать. Моя непривычная помощница Дженни исправно засыпала в кресле, и я не хотела ее будить, понимая, что пользы от нее, сонной и не умеющей держать себя в руках, никакой не будет. Мне ни разу еще не было так трудно; я прямо разрывалась на части между этими двумя больными, в особенности во время самого разгара их болезни. Но я черпала силу в окружавшей меня при этих людях чистой атмосфере искренней взаимной любви и самоотрицания; в ней я и отдыхала, если не телом, то хоть душой.

Муж стал поправляться, но жена шла на убыль. Ее хрупкий организм не мог выдержать одновременного напора большого счастья и тяжелой болезни. По мере того, как силы мужа восстанавливались, он все чаще и чаще обращался к жене с вопросами насчет ее состояния, и она с радостным смехом отвечала, что ей лучше. Я очень жалела, что предложила доктору положить их так, чтобы они могли переговариваться. Это тоже была большая ошибка с моей стороны, но когда я ее поняла, было уже поздно исправлять ее. Единственно, что мы с помощницей могли теперь делать, это просить мужа не вредить жене лишними разговорами и тревогами и временами уверять его, что жена спит. То же самое мы говорили и жене. Но когда последняя догадалась об этой нашей маленькой необходимой хитрости, то сказала, что ей трудно не отвечать мужу или самой не заговаривать с ним, и нам пришлось уступить, позволив им делать, как они хотят.

Бедная девочка-жена больше всего боялась, как бы муж не догадался, что ей плохо.

— Это будет так огорчать его, — говорила она, — что ему самому опять станет хуже, да и меня сразу убьет... Но ведь и в самом деле я не так уж плоха, чтобы не было никакой надежды на мое выздоровление, как вы находите, нянечка? Может быть, и я поправлюсь, только медленно, да?

Разумеется, я спешила успокоить ее и уверить, что, конечно, и она скоро начнет поправляться, если только не будет так волноваться из-за мужа, которому гораздо лучше.

Однажды утром, едва только открыв глаза, муж не сразу получил ответ от жены и встревоженно крикнул:

— Правда ли, дорогая, что тебе лучше?

— Конечно, лучше, милый, — раздалось, в ответ. — А что?

— Мне показалось, будто твой голос слабее обыкновенного...

Если это тебя утомляет, не будем разговаривать. Поправляйся только, моя бесценная женушка, а я потерплю.

После этой краткой беседы жена в первый раз начала серьезно бояться за себя, но не из себялюбия, а единственно ради своей любви к мужу, для которого, она верно знала, ее смерть была бы хуже собственной. Когда я пришла к ней, сделав все, что было нужно для ее мужа, она шепотом спросила меня:

— Нянечка, милая, неужели я не поправлюсь?

В ее больших неестественно блестящих глазах стоял ужас.

— Непременно поправитесь, — ответила я. — Но для этого вам нужно беречь себя и на время оставить ваши беседы с мужем. Лучше бы закрыть эту дверь.

— Ах, милая нянечка, вы только не говорите Джеку, если думаете не то, что сказали сейчас мне. — Ради бога, чтобы он ничего не знал. Умоляю вас, скройте от него, что я очень слаба... Может быть, это и пройдет, а если и нет, то... Ах, успокойте только его.

Пользуясь тем, что пришла Дженни, я поспешно выбежала из этой комнаты, в которой уже слышалось веяние незримых крыльев ангела смерти, и в темном углу коридора дала волю душившим меня слезам.

Когда я вернулась к больному, он также шепотом умолял меня сказать правду о жене, не хуже ли ей. Собрав всю силу духа, я самым убедительнейшим образом нагала ему, что жена только немножко ослабла, потому что кризис ее был очень тяжелый, и ей теперь нужно как можно больше покоя. Тогда она дня через два-три так же окрепнет, как и он.

Эта ложь лучше помогла ему стрясти с себя последние путы болезни, чем все лекарства, и на следующее утро он веселее прежнего кричал жене, чтобы она скорее поправлялась. Он купит ей новую прелестную шляпку, и они отправятся за город, тем более, что стоит чудная погода.

— Смотри, — шутливо прибавил он, — как бы я не встал первый и не пристыдил бы тебя, что ты так долго валяешься!

— Нет, я, пожалуй, встану раньше тебя, — с нежным серебристым смехом отозвалась жена. — Приду и буду за тобой ухаживать.

Я в ту минуту была возле мужа, так что не могла видеть лица жены, но голос ее был так крепок и ясен, а смех звучал так естественно, что я невольно подумала, уж не произошла ли в ней действительно перемена к лучшему — такие чудеса бывают с

молодыми людьми — и была очень удивлена, когда, войдя к ней, нашла всю ее подушку промоченную слезами.

— Что это с вами? — спросила я, наклонившись над нею. — Ведь вы только что так весело смеялись и шутили...

— Бедный Джек, — прошептала она, с трудом сдерживая новые слезы. — Он не перенесет моей потери...

Мне оставалось только молчать. Умиравшие часто чувствуют, что им готовится, и не верят больше никаким утешениям и обнадеживаниям. Одно разве только могло бы утешить это маленькое любящее сердце: уверенность, что муж скоро забудет ее. Но этому она ни за что не поверила бы.

Я прошла назад к мужу и сообщила ему, что его жена опять заснула и что я скажу ему, когда она проснется, а до тех пор он не должен беспокоить ее.

— Самое важное для нее теперь — крепкий сон, — лгала я.

Жена весь день пролежала необыкновенно спокойно. Доктор пришел в обыкновенное время, дотронулся до ее руки, покосился на нетронутую чашку бульона и уходя шепнул мне:

— Ни в чем больше не отказывайте ей.

Я поняла и молча кивнула головой.

Вечером больная слабым движением руки велела сестре нагнуться к ней и шепнула ей:

— Как ты думаешь, Дженни, грешно обманывать кого-нибудь ради его собственной пользы?

— Не знаю, — ответила сестра. — Но почему ты спрашиваешь?... Думаю, не грешно, а там не знаю.

— Дженни, у тебя точь-в-точь такой же голос, как у меня. Помнишь, дома нас часто смешивали по голосам... Дженни, прошу тебя... когда меня не будет... отвечай Джеку от моего имени, пока он совсем не встанет на ноги. Сделаешь это для меня, Дженни?

Дженни не могла от слез сказать ни слова, а только крепко прижала к своей груди головку горячо любимой сестры и поцеловала ее. Потом, сделав над собою последнее героическое усилие, умирающая приподнялась при помощи сестры на постели и звонким голосом крикнула:

— Покойной ночи, дорогой муженек! Я опять баинькать хочу... Баинькай с Богом и ты!

— Покойной ночи, дорогая женушка! — радостно отозвался муж, вполне успокоенный голосом жены. — Спи крепче и просыпайся здоровою!

Тоненькое тельце жены дрогнуло и вытянулось. Дженни осторожно поцеловала умершую в лоб, потом, вся сотрясаясь от заглушённых рыданий, крепко прижалась лицом к ее груди. Я

потихоньку вывела девушку в отдаленную пустую комнату, где мы обе и выплакались на груди друг у друга.

Сама теперь не понимаю, как удалось нам двум слабым женщинам целых три дня поддержать необходимый, по нашему мнению, обман. Дженни почти безвыходно сидела около ложа, на котором лежало прикрытое простыней тело ее покойной сестры, а я оставалась возле выздоравливавшего, но все еще далеко не совсем окрепшего вдовца, успокаивая его ложными известиями о жене. Я так хорошо научилась лгать о том, что было и чего не было, что должна бояться лишь одного — как бы только не переусердствовать.

Видя мою «веселость», больной осведомился о ее причине и получил от меня в ответ, что я радуюсь тому, что его жена теперь уж вне всякой опасности.

— А! так опасность все-таки была? — подхватил он, впиваясь в меня пытливым взглядом. — А как же вы тогда говорили...

Мне удалось не выказать своего смущения, и я перебила его:

— К чему же мне было тревожить вас, когда доктор был вполне уверен в благоприятном исходе? Но слабость у нее продержится еще с неделю, благодаря крайне нежному организму. Давеча она отлично позавтракала и теперь спит. Да и хорошо, что она так много спит: это верный показатель ее скорого выздоровления. Сном лучше всего восстанавливаются силы. Это вы ведь сами испытали на себе.

Я лгала и улыбалась, а про себя опасалась, что, вот-вот не выдержу своей пытки и сама без чувств грохнусь на пол.

Когда в первый раз на его обращение к жене откликнулась Дженни, больной с побледневшим лицом приподнялся на локте и проговорил с сильною тревогой:

— Что это?.. Как будто не ее голос?

Голоса его умершей жены и ее сестры были действительно так похожи, что я никогда не могла уловить никакой разницы между ними. Но, по-видимому, у любви более тонкий слух, чем у обыкновенного сострадания.

Я объяснила ему, что и его собственный голос изменился во время болезни, и что так бывает у всех выздоравливающих. Затем, с целью отвлечь его мысли, я сочинила, что Дженни очень утомлена своим безвыходным ухаживанием за сестрой и теперь, убедившись, что опасность прошла, по совету доктора, отправилась отдыхать на несколько дней в деревню к тетке. Он опять успокоился и с радостным блеском в глазах попросил меня прочесть ему последние газетные новости.

Вечером Дженни написала ему письмо будто бы из своего нового местопребывания, а я утирала ей платком глаза, чтобы

слезы не замочили письма. Ночью она поехала за двадцать миль по железной дороге, чтобы отправить свое послание с той станции, которая была ближайшей к имению тетки, а со следующим поездом вернулась.

Доктор и домашняя прислуга усердно помогали нам обманывать больного, и вся эта грустная комедия разыгрывалась образцово. Кажется, ничего нельзя было ему подозревать, однако силы, которые перед тем так быстро стали было возвращаться к нему, вдруг снова начали падать, и он опять лишился аппетита, стал беспокойно спать и сделался необычайно молчалив.

В той части нашего отечества, где я родилась, упорно держится поверье, что где лежит мертвец, там хоть в самое жаркое лето или зимой при самой усиленной топке воздух делается все холоднее и холоднее. От многих поверий я отделалась, пробыв несколько месяцев в госпитале, но от этого никак не могу отвязаться до сих пор. Мой термометр может показывать двадцать градусов тепла, и я знаю, что это верно, но когда в одном со мною доме лежит мертвое тело, я чувствую холод, пронизывающий меня до мозга костей. Проходя мимо той комнаты, где покоится мертвец, я даже вижу выползающий из нее холод, хватающий людей за сердце.

К счастью, сам больной еще во время жизни его жены — кажется, за день до ее смерти — просил меня притворить поплотнее дверь, соединявшую его комнату с комнатой жены, чтобы там было тише. Это нам с Дженни много помогло, хотя все время мерещилось, что истина проникает сквозь замочную скважину, и весь обман откроется. В известные часы я уходила в комнату умершей, гремела дровами, перекладывая их в холодной печке, потом ворочала кочергой, точно мешая в печке, и «разговаривала с выздоравливающей», прося ее не напрягать своего голоса. А Дженни сидела в ногах смертного ложа и отвечала вместо мертвой сестры на тревожные вопросы несчастного вдовца, все еще мнившего себя мужем.

Когда нам с Дженни становилась совсем невтерпеж, мы прятались в самую отдаленную комнату дома, где и давали волю теснившим наши сердца чувствам. Удивляюсь, как мы не сошли тогда с ума!

На третий день нашего кошмарного для нас самих обмана Дженни не надолго куда-то вышла из той комнаты, которая хранила страшную тайну, а я, едва сознавая, что делаю, машинально исполняла свои «обязанности»: хлопала руками по подушкам, гремела посудой и болтала разный вздор, будто разговаривала с пациенткой.

Когда я вернулась к пациенту, он, как всегда, с лихорадочною

торопливостью осведомился о жене.

— Слава богу, настолько уж хорошо, что она сейчас попросила меня позволить ей самой немножко почитать. Доктор предвидел вчера эту просьбу и разрешил ей, — немилосердно лгала я, стараясь быть «веселой».

— О, если так, то нам сегодня можно будет подольше побеседовать! — обрадовался вдовец и, приподнявшись, оживленно крикнул жене, чтобы она берегла глаза и лучше поговорила бы с ним, чем читать какой-нибудь вздор.

Ответа не последовало. Вместо него из соседней комнаты дохнуло безмолвием, — не тем безмолвием, которое только *молчит*, а тем, которое имеет *свой собственный голос*. Не знаю, понимаете ли вы, что я хочу сказать этим? Если бы вы провели столько же времени, как я, между мертвецами, то поняли бы.

Я бросилась в комнату «выздоровливающей», будто бы узнать, почему нет ответа. Вернувшись, я шепнула ему: «Уснула. Книга на полу». Он ничего мне не сказал, но глаза его бросили на меня чисто инквизиторский взгляд.

Ночью, когда пациент кое-как заснул, мы с Дженни стали совещаться, как быть нам дальше.

— Одна надежда на Бога, — говорила со вздохом Дженни. — Мы ничего больше не можем сделать. Мы рассчитывали, что он за эти три дня настолько окрепнет, что будет в состоянии узнать правду, а он, наоборот, все слабеет и слабеет. Открывать ему сейчас ничего нельзя: это убьет его.

Остановившимися от ужаса глазами мы смотрели друг на друга, недоумевая, как выйти из страшного затруднения. Но судьба решила нашу нелегкую задачу по-своему.

В доме было так тихо, что ясно слышалось тиканье маленьких часов. И вдруг среди этой тишины раздался крик... Нет, это был не крик, таких криков никогда еще не вырывалось из человеческой груди. Я слышала человеческий голос во всех его наисильнейших напряжениях, — голос страдания, горя и радости, и сделалась к нему равнодушна. Но молю Бога, чтобы мне никогда больше не слышать того вопля, который издала в своей муке человеческая *душа*. Этот вопль пронесся по всему дому, потрясая его основы, и замер, но мы две бедные женщины долго стояли, как окаменелые.

Наконец, когда мы настолько пришли в себя, что были в состоянии взобраться наверх в жилые комнаты, то прежде всего заглянули в комнату пациента. Его беспорядочно раскинутая постель была пуста. Мы бросились в соседнюю, дверь которой стояла настежь, и нашли молодого вдовца лежавшим поперек тела жены. Прижав ее голову к своему сердцу, он тоже

последовал за женою в лучший мир...

Несколько времени сиделка просидела молча, уставившись в огонь померкшими глазами.

— Вам следовало бы написать свои наблюдения, — заметил я. — Они были бы очень интересны.

— Вы думаете? — возразила она, мешая огонь угольными щипцами. — Нет, я ничего не стану писать... Кто видел и испытал то, что видела и испытала я, тот не решится описывать этого, чтобы не бередить своих затянутых временем ран и не тревожить чувствительных сердец читателей.

Спор наш продолжался. Я предложил женить нашего героя-злодея на дочери местного аптекаря, девушке с благородным характером и чистой душой и пояснить, что эта девушка была очень дружна с нашей главной героиней и смиренно преклонялась перед ее внешними преимуществами.

Браун не соглашался на эту комбинацию, находя ее неестественной и невероятной.

— С какой же стати ему жениться непременно на ней? — спросил он.

— Да просто по любви, — пояснил я, — той любви, которая одинаково горит ярким пламенем в груди честного человека и закоренелого злодея.

— Да ты что задумал писать, — горячился Браун, — трактат моральной философии или легкую занимательную повесть? Ну? подумай, какую же привлекательность для избранного нами героя может иметь эта девушка?

— Всякую, — сказал я. — Прежде всего его должно привлечь то, что она является полной противоположностью его характеру. Потом она хороша. А если мало той красоты, которую мы ей придали, можно еще немножко подмазать ее. Кроме всего этого, она единственная наследница после своего отца. Такое сочетание и будет всего интереснее.

Находя бесполезным тратить на меня слова, Браун обратился с вопросом к Мак-Шонесси:

— Неужели и *ты* можешь вообразить, что наш герой Рубен мог загореться любовным пламенем к Мэри Холм?

— Почему же нет? — отозвался Мак-Шонесси. — Я могу вообразить что угодно и поверить всему, что говорится и пишется. Но все-таки я должен оговориться, что обыкновенно в повестях люди действуют вполне рассудительно и последовательно, а в действительности это редко случается. Я знаю старого морского капитана, который каждый вечер в постели читает «Журнал для молодых девиц» и плачет над ним. Знаю серьезного счетовода, постоянно таскающего с собою в кармане томик сладких стишков и читающего их во время своих переездов из дома на службу и обратно. Знал одного доктора, который в сорок восемь лет сделался ненасытным лакомкой и все свободное от практики время проводил в кондитерских. Вообще я заметил, что у каждого человека целая дюжина разных характеров, из которых только какой-нибудь один берет верх над остальными одиннадцатью, играющими второстепенную роль.

Впрочем, я знал такого человека, у которого было два характера, и оба оказались равносильными, благодаря чему получились очень интересные последствия.

Мы просили Мак-Шонесси рассказать нам про этого человека, и слышали следующее.

— Это был очень загадочный субъект, — начал Мак-Шонесси. — В то время, когда я с ним познакомился, он, подобно мне, был членом «Девоншира». Звали его сэром Джозефом Смайсом. Трудно найти более странную личность. Он высмеивал «Субботнее обозрение» как любимый журнал местного литературного клуба, а «Афинеум» — как торговое предприятие неудачных писак. Теккеря он находил вполне приспособленным быть любимым автором культурной части духовенства, а в Карлейле видел представителя серьезного ремесла. Живых авторов он никогда не читал, но это не мешало ему раскритиковать их в пух и прах. Единственными современными писателями, удостоившимися его похвалы, были два-три французских романиста, о которых, кроме его самого, никто не слышал. От чужого юмора он впадал в меланхолию, а при виде чего-нибудь трогательного ему делалось тошно. Искусство его раздражало, а наука наводила скуку. Он презирал своих родных и ненавидел всех остальных людей.

Вот в общих чертах характеристика этого загадочного человека. Теперь я расскажу о нем то, что знаю.

Однажды, в поздний летний вечер, отправляясь на рыбную ловлю, я встретил на улице одного из предместий компанию из четырех подкутивших молодцов. Идя под руку, они заняли всю ширину тротуара. Ближайший ко мне играл на необычайно хриплом концертино, а его спутники во всю силу своих легких орали какую-то разухабистую народную песню. Самым шумным и циничным из этой милой компании был тот, который играл на концертино. Прижавшись в самой подворотне, я с любопытством смотрел на этот квартет, и меня поразило сходство концертиниста с сэром Смайсом. Я готов был поклясться, что это его лицо, но все остальное так не соответствовало представлению о нем, что я невольно подивился про себя, какое иногда бывает сходство в лицах людей совсем противоположных слоев общества. Положим, данное сходство ограничивалось одним общим характером лица. Сэр Смайс всегда ходил начисто выбритый, а этот молодец имел щетинистые рыжие усы и такого же цвета длинные растрепанные бакенбарды. Он был в кричаще-пестрой клетчатой паре, в штиблетах с перламутровыми пуговицами и в таком галстуке, который мог довести нервных дам до обморока. На голове у него еле держалась сдвинутая на затылок, хотя и

модная, но сильно помятая шляпа, а в зубах торчала сигара, распространявшая убийственный аромат.

Проходя мимо, концертинист задел меня локтем и посмотрел мне прямо в лицо. Глаза его насмешливо прищурились, и он, вынув сигару изо рта, как-то особенно ухарски присвистнул. Глаза были глазами сэра Смайса; в этом я был непоколебимо уверен.

Заинтересованный, я повернул назад и осторожно последовал за гуляками в кабак.

Смайс подошел к буфету и заказал себе стакан джина.

Я подошел к нему и положил ему руку на плечо. Обернувшись и увидев меня, он побледнел как смерть.

— Сэр Джозеф Смайс, если не ошибаюсь? — с улыбкой проговорил я.

— Очень даже ошибаетесь! — хриплым голосом ответил он, сбрасывая с своего плеча мою руку. — Мое имя — Смес, и с важными Смайсами я ничего общего не имею... А вы кто такой? Я вас не знаю.

Пока он говорил, я впился глазами в золотое кольцо вычурной индийской работы, которое он носил на левой руке. В этом кольце я уж не мог ошибиться: оно было известно всему нашему клубу, где я встречался с Смайсом и где оно не раз ходило по рукам, вызывая во всех восторг и зависть. Когда я снова взглянул на лицо стоявшего передо мною этого странного человека, оно совершенно преобразилось: на глазах были слезы, углы рта дрожали, и он сам весь принял самый жалкий вид.

Смайс — это был действительно он — торопливо потянул меня за рукав в отдаленный угол залы и умоляюще прошептал:

— Друг мой, не выдавайте меня этим пьяницам. Не дайте им понять, что я член кукольной комедии, разыгрываемой в Сент-Джеймском дворце. Если они узнают об этом, то повернутся ко мне спиной. Не проговоритесь и об Оксфорде. Они и его мне никогда не простят.

Я был поражен до последней степени. Передо мною сидел представитель высшей аристократии и трясся от боязни, — не того, что в том кругу, к которому он принадлежал по рождению и положению, могут узнать об его уличных похождениях, а наоборот, — того, как бы бесшабашные гуляки, с которыми я его встретил, не узнали, что он вовсе не тот, за кого выдает себя перед ними.

На мои удивленные расспросы, что все это значит, Смайс пояснил мне, что его двойная игра доставляет ему величайшее наслаждение, сущность которой, однако, он сам не может себе объяснить. Регулярно два раза в год он в своем настоящем кругу

объявлял, что уезжает на континент, а сам забирался в одну из отвратительнейших глухих трущоб уайтчепелского предместья, переодевался, загримировывался и смешивался с общественными отбросами, против которых так энергично выступал в палате лордов. Теперь он сам участвовал во всех их самых эксцентричных похождениях и яростно ораторствовал на их сходбищах против всего, что не носило печати отверженности.

— А как же вы объясняете своим сегодняшним товарищам свои временные отсутствия из их приятной компании? — спросил я.

— О, их я с самого начала уверил, что я бродяжничаю по всей стране, — ответил он. — Это придает мне особенный престиж в их глазах, — уже со смехом прибавил мой странный собеседник.

Он предложил мне распить бутылочку с его компанией, но я от этого уклонился и, клятвенно уверив его, что никому не выдам его тайны, покинул кабачок. Долго я думал о двойной жизни, которую вел этот утонченнейший представитель высшего аристократического слоя, и с удивлением припоминал, как он в своем объяснении уверял меня, что когда он несколько времени проведет в своем роскошном дворце, среди благ высшей культуры, то эта обстановка так противеет ему, что он со злобою сжигает лучшие произведения всемирной литературы, раздаривает бесценные статуи и картины, и едва может дожидаться того блаженного дня, когда будет удобно показать вид, что он опять отправляется «на континент». Не расскажи мне это он сам, я бы не поверил.

Месяц спустя моя служанка подала мне элегантную визитную карточку с именем Джозефа Смайса, и сказала, что владелец этой карточки дожидается внизу и желает видеть меня. Я велел ей просить его в мой кабинет. Он вошел ко мне тем самым высокоприличным и надменным лордом, каким его знал весь фешенебельный Лондон, и после обычных церемоний степенно опустился в кресло, которое я поспешил ему подвинуть. Когда мы остались одни и шаги удаляющейся служанки замерли внизу лестницы, я спросил:

— Значит, Смес опять превратился в Смайса?

Он болезненно улыбнулся и, в свою очередь, со страхом спросил:

— А вы никому не говорили?

Я поспешил успокоить его и ответил:

— Ни одной живой душе, хотя, признаюсь, не раз чувствовал поползновение.

— Надеюсь, вы и потом не поддадитесь этому «поползновению»? — со вздохом облегчения перебил он. — Вы и

вообразить себе не можете, как мне тяжело от этого висящего надо мною наваждения! Решительно сам не могу понять, почему мне периодически непременно нужно превращаться в какого-то трущобника. Уверяю вас, что если бы я сознавал себя вампиром или самым дьяволом, то мне бы было несравненно легче, чем чувствовать свое временное тождество с уайтчепелской клоакой. Когда я, приходя в себя, думаю об этом, каждый нерв моего существа протестует...

— А вы хоть сейчас-то не думайте, — прервал я его. — Ведь не затем вы пожаловали ко мне, чтобы предаваться этим думам.

— Нет, именно об *этом* я и пришел поговорить с вами; больше мне не с кем. Я чувствую неодолимую потребность высказаться до конца человеку, который был бы способен меня понять, а таким я нашел только вас. Мне думается, судьба нарочно сделала именно вас... как бы это выразиться?.. Ну, помогла именно *вам* проникнуть в мою тайну... Но, быть может, я вам надоедаю? — тревожно осведомился он, впиваясь в меня своими бездонными черными глазами.

— Напротив, — ответил я. — Поверьте, что все, касающееся вас, меня в высшей степени интересует.

Видя, что он заминается, я попросил его не стесняться и прямо приступить к делу, которое привело его ко мне.

— Дело... дело? — бормотал он с внезапно вспыхнувшею на его всегда бледном лице краскою. — Какое тут «дело»?.. Это — не дело, а состояние... Видите ли, дорогой Мак, я влюблен, — с отчаянною решимостью выпалил наконец он и еще больше смутился и покраснел.

— Великолепно! — ободряюще вскричал я. — Очень рад слышать (я надеялся, что это поможет ему отделаться от его «наваждения»). — Может быть, я имею честь знать вашу избранницу?

— Ее зовут Елизаветою Меггинс. Я раз говорил вам о ней.

— Это меня несколько удивляет, — продолжал я. — Насколько мне помнится, вы тогда отзывались о ней не особенно... одобчительно.

— Вы упускаете из вида, что тогда был Смис, а не Смайс, — заметил мой странный посетитель. — Разве тот несчастный человеческий черновик может ценить женщину?.. Презрительное отношение к мисс Елизавете Меггинс этого полудикаря служит лучшим доказательством ее превосходных качеств.

— Однако мне показалось, что эта леди довольно обыденная женщина, — с невольною заминкою (мне было неизвестно, как он это примет) заметил я.

— Действительно, она не из настоящих леди. Но, дорогой

Мак, я не настолько уважаю общественное мнение, чтобы руководствоваться им, — спокойно возразил Смайс. — Мисс Меггинс, Лиза, хороша, добра, мила, и... словом, лучше ее я не встречал женщин. Разумеется, для поверхностного наблюдателя мой выбор должен казаться очень странным. Да, по правде сказать, я и сам не могу дать себе ясного отчета в том, что именно привлекает меня к Елизавете. Это — одна из тех тайн моей натуры, которые остаются неразрешимыми даже для меня самого. Может быть, меня притягивает ее внешняя противоположность со мной. Может статься, то, что есть во мне утонченного, требует тесного соединения с ее более примитивной натурой — для большей, так сказать, устойчивости. Ничего этого наверное не знаю. Чувствую только, что меня влечет к ней что-то инстинктивное, и не могу противиться этому.

Я ничего не возразил ему на это излияние, а только полюбопытствовал узнать, чем занимается его избранница.

— Служит в чайной, — объяснил Смайс. — Я каждый день в четыре часа хожу туда чай пить. От вас тоже пойду прямо туда.

— В этом... настоящем вашем виде? — удивился я.

— Да, конечно. Я своей роли каждый день не меняю.

— А узнает она вас в этом виде?

— Нет. Говорит только, что я похож на одного парня; которого она хорошо знает, и не принимает моих ухаживаний. Я даже прямо предлагал ей свою руку, но она ответила мне, что не желает иметь дело с человеком, который ей не подходит. Более откровенна, чем любезна, не правда ли?

— А вы не пробовали намекнуть ей, что тот парень, которого она любит, и вы — одно и то же лицо?

— Ах, что вы! — чуть не с ужасом воскликнул Смайс. — С какой же стати? Ведь между мною, когда я Смайс, и тем безобразным лодырем, каким бываю, когда зовусь Смисом, нет ничего общего. Когда я в своем настоящем виде, все касающееся моего двойника кажется мне одним тяжелым кошмаром.

— А между тем ваша Лиза любит именно того... Смиса, и если вы серьезно желаете иметь ее своей женой, то вам нужно посвататься за нее в то время, когда вы бываете Смисом, а потом она уже поневоле помирится и со Смайсом. Другого исхода я не вижу.

Он на минуту задумался, потом, взглянув на часы, стрелка которых подвигалась к четырем, вдруг вскочил и, крепко пожимая мне руку, оживленнее обыкновенного сказал:

— Вы навели меня на прекрасную мысль, дорогой Мак! Не напрасно меня потянуло к вам. Я подожду до следующего своего превращения, и тогда воспользуюсь вашим советом. А пока — до

свиданья!

Я сам проводил его вниз, в переднюю, и мы расстались. Через полгода, приблизительно в конце ноября, служанка доложила мне, что меня желает видеть какой-то Смис.

— Смис?... Смис? — повторил я, стараясь припомнить, кто бы это мог быть. — А разве он не дал вам карточки?

— Нет, сэр, — ответила служанка. — Этот человек и не выглядит таким, у которого бывают карточки. Но они говорят, вы его и так примете.

В голосе служанки слышались нотки не то недоверия, не то порицания. По-видимому, она сильно была шокирована тем, что меня, ее хозяина, которого она привыкла считать порядочным во всех отношениях человеком, спрашивает какой-то подозрительный субъект.

Я только что хотел заставить ее солгать перед неизвестным посетителем, что меня нет дома, но вдруг вспомнил о «двойнике» Смайса, и велел его принять.

Смис вошел ко мне в костюме чуть не циркового паяца. Мне кажется, что он сам придумал себе фасон, сочетание цветов, а может быть, даже и рисунок ткани своего изумительного костюма со всеми его необходимыми принадлежностями: головной покрывкой, обувью и пр. Он казался очень разгоряченным и весь был в поту и пыли. Не протягивая мне руки, он неуклюже опустил на самый край стоявшего в углу стула и, вытаращив совсем по-простецки глаза, оглядывался, точно в первый раз находится не только у меня, но и вообще в таком помещении. Его растерянность сообщилась и мне; я не знал, что сказать, и мы несколько времени просидели в неловком молчании. Наконец я решил, как говорится, рубить с плеча, как делают люди того класса, к которому принадлежал Смис, и прямо начал:

— Ну, как ваши дела с Лизой?

— Как были, так и теперь, — каким-то странным голосом ответил он, смущенно вертя в руках свою невозможную шляпу самого декадентского пошиба.

— Разве вы не сделали еще того, о чем говорили прошлый раз?

— Чего такого?

— Да ведь вы хотели на ней жениться?

— Нет, — вяло промолвил Смис, пристально рассматривая подкладку шляпы.

— Отказала вам? — продолжал я.

— Я за нее и не сватался, — громко процедил он сквозь зубы.

— Но почему же? Разве она вас разлюбила?

— Разлюбила?! — с хриплым смехом повторил Смис. — Да

ябы рад был, кабы разлюбила. Хоть бы кто-нибудь убрал ее подальше от меня... Видеть ее не могу.

— Но позвольте! — в полном изумлении воскликнул я. — Ведь несколько месяцев тому назад вы были в таком восторге...

— Вовсе нет! — ничего такого не было! — перебил он меня, — Может быть, вы слышали насчет нее какую-нибудь ерунду от Смайса. Он полоумный, и от него все станется. Коли такой, как он, втешится в смазливую рожицу хоть самой последней, с позволения сказать, коровницы, так сейчас готов и хомут на себя надеть. Порядочному человеку требуется не такая жена, которая ниже его, а такая, которая была бы выше, чтобы он мог смотреть на нее снизу вверх, а не сверху вниз. Жена порядочного человека должна быть ангелом, богиней, какие описываются в книжках, а не то что...

— И вы уже наметили себе такую жену? — невольно вырвалось у меня.

Он густо покраснел и, по-видимому, очень заинтересовался рисунком ковра под его ногами. Мгновение спустя он поднял голову; все его лицо точно преобразилось, засветившись таким теплым чувством, на какое я и не считал способным этого загадочного человека.

— О, мистер Мак-Шонесси! — воскликнул он идущим прямо из сердца голосом. — Если бы вы знали, как она хороша, вы бы сами назвали ее богиней. И какая умная... Я недостойн даже думать о ней... А не могу не думать... День и ночь все думаю... Я встретил ее с каким-то толстым старичком в Тойнби-Холле. Послушали бы вы, мистер Мак-Шонесси, как она разнесла там в пух и прах все картины. Ни об одной не сказала ни полсловечка хорошего. Все обозвала скверной мазней. Уморительно было слушать, смею вас уверить... Когда она вышла садиться в экипаж, я опередил ее и отворил перед ней дверцу, а она, покосившись на меня, брезгливо подобрала платье, точно боялась запачкаться об меня. Потом выбросила мне прямо на мостовую шиллинг. Он у меня сейчас на груди... Это для меня святыня. Я готов целовать камни, на которые она ступает своими маленькими ножками.

Его чувство было такое искреннее, что я не мог смеяться над ним, а с полным участием осведомился, узнал ли он, по крайней мере, кто его богиня.

— Конечно, узнал! — с торжеством воскликнул он. — Я бежал за ее экипажем до самой Харли-стрит. Там он остановился перед богатейшим домом, и красавица со своим старичком вошла в его подъезд. Я расспросил кого надо, и мне сказали, что ее зовут Эдит Тревиор...

— Ба! — вскричал я. — Так это мисс Тревиор, дочь одного из

самых богатых банкиров... Она высокого роста, смуглая, с копною взбитых волос и голубыми глазами?

— Да, высокая и смуглая, с волосами, похожими на путаницу шелковой паутины, и с большими голубыми, как незабудки, глазами... Номер дома сто семьдесят третий...

— Знаю, знаю этот дом, — перебил я. — Да вы и сами раньше знали его. Разве вы забыли, что мы вместе с вами были там на вечере, и вас представили мисс Тревиор, с которой вы беседовали чуть не целый час?.. Вы тогда, разумеется, были сэром Смайсом.

— Нет... не помню этого, — отозвался мой посетитель, видимо порывшись в своей памяти. — Я почти ничего не помню, что делает Смайс. Он для меня — все равно что сонное видение... Разве я и в самом деле уже бывал в том доме и разговаривал с мисс Эдит?

— Были, были, уверяю вас. Мисс Эдит потом созналась мне, что вы произвели на нее очень приятное впечатление.

— Не я, а тот, другой... этот противный, важничающий Смайс... Ну, и я... то бишь этот самый Смайс, тоже ею был зацеплен? — с любопытством спросил мой собеседник, точно речь шла о совсем постороннем для него человеке.

— Не могу этого сказать. У вас... то есть у сэра Смайса, был очень скучающий вид, пока он обменивался с этою мисс мнениями о разных салонных вопросах; а после у нас с ним никакого разговора о ней не было.

— Экий идол! — презрительно произнес уайтчепелский фронт, делая такую гримасу, словно хотел плюнуть. — Надо будет хорошенько внушить ему, чтобы в следующий раз, когда опять заважничает и очутится в обществе мисс Эдит, он не держал себя каменным истуканом.

— И не вспоминал бы больше о Лизе, — с невольной усмешкой добавил я.

— О, мистер Мак-Шонесси! разве можно держать в одном уме высокое и низкое? — с ужасом крикнул чуть не на весь дом мой интересный гость, поднимаясь с места и в волнении комкая свою балаганную шляпу. — Я каждый вечер по целым часам брожу около того дома в Харлей-Стрите, как около какого храма, куда не смею войти, и, когда никто не видит, становлюсь на колени перед подъездом и целую ступеньки...

Мы снова надолго расстались. Когда весною сэр Смайс опять вступил в отправление обязанностей своего существования, я встретил его как раз в доме банкира Тревиора на вечере, данном по случаю дня рождения мисс Эдит. Он сидел со своим скучающим видом и дьявольски тонкой улыбкой среди группы людей, ловивших каждое его ядовитое слово как высшее

откровение, и на свое «божество» не обращал ни малейшего внимания. Улучив момент, я подошел к нему и шепнул:

— Что же вы не пройдете в картинную галерею? Там вас ожидает мисс Эдит.

— Ожидает *меня*! — процедил он сквозь зубы, вскинув на меня удивленный взгляд. — На что я ей?

— Я слышал, что она очень заинтересована вами, а это, мне кажется, с своей стороны, должно интересовать и вас, — сказал я, начиная смущаться при мысли, что, быть может, сунулся к нему не вовремя.

Оказалось, что я угадал на этот раз верно, хотя действительность превзошла мои ожидания.

— Решительно не понимаю, почему это должно интересовать *меня*! — брезгливо передернув губами, вымолвил Смайс. — Мало ли кто может быть заинтересован мною! Но это еще не значит, чтобы я должен был платить взаимностью.

— Однако разве не вы сами уверяли меня, что мисс Эдит для вас — божество? — продолжал я, желая до конца вывести эту изумительную двойственность.

— Во сне разве? — подхватил он. — Наяву вы не могли слышать от меня ничего подобного. Как могу я признать божеством какой-то плохой снимок с героини плохого бульварного романа!

— Нет, не во сне, а именно наяву вы признавались мне, что целуете прах под ногами этой мисс и ступени здешнего подъезда.

Он побагровел и, отвернувшись в сторону, через плечо прошипел:

— Милейший Мак, я думал, у вас хватит настолько здравого смысла и деликатности, чтобы не смешивать меня с другими личностями, которые, вероятно, подыгрываются под меня, и, вместо того, чтобы вступать с ними в интимные беседы, вам следовало бы отвертываться от них... Только вульгарные субъекты и могут восхищаться такими энциклопедиями в юбках, — презрительно прибавил он, кивнув на мисс Эдит, входившую в эту минуту в гостиную.

Подумав немного, он еще добавил:

— Вы, дорогой Мак, должны бы знать, что для меня существует *один* женский идеал, олицетворенный в лице мисс Елизаветы Меггинс.

— А та как относится к вам? — решил спросить я.

— Как я — к вашей мисс Эдит: с полным равнодушием. Только и мечтает о негодяе Смисе, который позволяет себе временами подыгрываться под меня.

— Отчего бы вам не сказать ей, что вы и он — одно и то же

лицо?

— Этого я не могу сделать. Да она и не поверит мне.

В следующий раз я опять встретил его, в начале осени, близ Уайтчепеля. Он был в новом шутовском костюме и выглядел крайне удрученным. Взяв его под руку, я спросил:

— Кто вы нынче?

— В данный момент — никто, — ответил он совершенно просто, по-человечески. — Полчаса спустя я был Смайсом, через полчаса буду Смисом, к чему, как видите, уже подготовился, а в промежутке чувствую себя чем-то безличным и блаженствую.

В дальнейшем разговоре он сообщил мне все стадии своего перехода от Смайса к Смису и обратно. Это было нечто кошмарное по своей необычности. Всего лучше он себя чувствовал, когда бывал Смисом и шатался по трущобам. Я спросил его, не приходило ли ему когда-нибудь в голову совсем сбросить с себя Смайса и остаться только Смисом. Он ответил, что приходило и даже не раз, но выполнить операцию отделения от своего двойника ему никогда не удавалось, и он покорился своей горькой участи. Потом он начал философствовать на тему общей двойственности природы и уверял, что, в сущности, все люди двойные, но обыкновенно с перевесом в них какой-нибудь одной стороны.

— Природа не любит однобокости, — продолжал он. — Я всю жизнь старался доразвиться до высшего существа, а природа в противовес одарила меня двойником самого низшего разбора. Думаю, что ни один человек не бывает одинарным или, так сказать, одноликим. Вглядитесь поглубже в самого идеального на вид по своей чистоте человека, и вы увидите в нем, хоть на дне его души, полную противоположность.

Пораженный его рассуждением, я шел рядом с ним молча, понутив голову. Потом, страхнув с себя путаницу мыслей, я осведомился, как идут его сердечные дела.

— Как всегда: вечно мотаюсь между двумя крайностями. Когда бываю Смайсом, с ума схожу по Лизе, которая тогда ненавидит меня; а будучи Смисом, боготворю мисс Эдит, которая содрогается при виде меня... Как, однако, странно, — перебил он сам себя: — только в этот промежуток между двумя состояниями я вполне ясно вижу в себе и Смайса и Смита и помню все до мельчайших подробностей об их противоположных чувствах, мыслях и поступках. Но как только вступаю в исполнение той или другой роли, одна из них кажется мне каким-то смутным сном, и лишь в те мгновения, когда вы мне напоминаете о ней, я сознаю, что это действительность... Да, моя проклятая двойственность, чересчур уж резко выраженная, приводит к самым запутанным

осложнениям. По-видимому, я осужден выпить эту отравленную чашу до дна. Это нечто ужасное, и я думаю, что, в конце концов, окончательно сойду с ума, — с незамечаемого мною раньше в нем грустью закончил он.

Я с любопытством взглянул на него. Он шел, еле переставляя ногу за ногу, засунув руки в карманы и с неподдающимся описанию выражением на лице и в глазах. Это был не Смайс и не Смис, а какая-то изумительная смесь того и другого, хотя все-таки преобладал более Смис.

Мне вдруг стало так жутко, что я, взглянув на часы, сказал:

— Ого, как уже поздно! Ну, я должен пока проститься с вами, дорогой...

Я заколебался, не зная, каким именем назвать его. Но он выручил меня.

— Конечно, Смис! — задорно произнес он. — Не смею больше задерживать вас, мистер Мак-Шонесси. Будьте здоровы!

И, не подав мне руки, он повернулся ко мне спиной и более уверенною походкой повернул назад. Больше я не встречался с ним.

— И все это правда? — спросил Джефсон, когда Мак-Шонесси замолк, устремив задумчивый взгляд на шумевшую под нами реку.

— За исключением имен, все чистая истина, — ответил рассказчик. Мы оставили это на его совести.

Может быть, он и сочинил всю эту историю, а может быть, и нет: мало ли какие бывают чудеса в нашем загадочном мире.

Видя, что нам не решить вопроса о выборе героя для нашей повести, мы совершенно растерялись. Каждый из нас предлагал этого героя по своему личному вкусу, но встречал горячие возражения со стороны остальных, и дело не двигалось вперед ни на одну пядь. Вертелись на одном месте, как белка в колесе. Наконец Джефсону пришла блестящая мысль.

— Ничего у нас не выйдет, пока мы не будем знать, какого рода героев предпочитают женщины, — сказал он.

— А ведь это правда! — подхватил Мак-Шонесси. — Ведь мы намерены писать не для собственного удовольствия и не для одних мужчин. О вкусах мужчин мы более или менее верно можем судить по нашим собственным, а что касается женских вкусов, то нам нужно узнать, в какой профессии или в каком общественном положении женщины любят видеть героев повестей. Для этого я предлагаю сделать несколько запросов. Я напишу своей тетке, которая является представительницей дам зрелого возраста. Ты, — обратился он ко мне, — спросишь свою жену; она выскажет нам взгляд молодых дам на этот предмет. Браун пусть напишет своей сестре, чтобы она ознакомила нас с вкусом передовых молодых женщин, а Джефсон может позондировать мисс Медбери относительно идеала простых, но здравомыслящих женщин.

Этот план всеми нами был единодушно одобрен, и результат оказался самый неожиданный. Запросы были сделаны и ответы получены. Мак-Шонесси вскрыл письмо своей тетки и прочитал нам вслух:

«На твоём месте, мой дорогой мальчик, — писала почтенная дама, — я бы выбрала военного. Как тебе известно, твой бедный дед, сбежавший в Америку, был военным; таким же военным был и твой кузен Роберт, проигравший восемь тысяч фунтов стерлингов в Монте-Карло. Я всегда чувствовала особенное влечение к военным ещё девочкою. Относительно значения военных ты можешь найти множество указаний в самой Библии; например, у пророка Исаии, глава 48, стих 14. Разумеется, неприятно представлять их себе бьющимися и режущими друг друга; но нынче они, кажется, уж не делают больше таких зверств».

— Вот вам мнение пожилых дам, — сказал Мак-Шонесси, складывая письмо. — Теперь узнаем, что говорит высшая умственная женская культура в лице сестры Брауна.

Браун достал письмо своей сестры, написанное смелым,

чисто мужским почерком, и прочитал:

«Какое странное совпадение! Наш кружок только что на днях обсуждал тот вопрос, с которым ты, дорогой брат, теперь обращаешься ко мне. Наше единоголасное решение было в пользу военных. И это очень естественно: ведь человеческая натура тяготеет к противоположностям. По всей вероятности, какой-нибудь приказнице должен импонировать поэт; но интеллигентная женщина никогда не увлечется поэтом; он может навести на нее только скуку; такая женщина ищет мужчину, на которого могла бы смотреть с благоговением. Пустоголовой девочке военный может казаться типом «выдохшимся» и неинтересным, а для умственно развитой женщины именно военный и представляется высшим мужским идеалом, как существо обыкновенно всегда очень красивое, сильное, прекрасно одетое, хорошо выдрессированное и не настолько умное, чтобы действовать на нее подавляюще».

— Вот уж два голоса за армию, — заметил Мак-Шонесси, когда Браун изорвал письмо своей интеллигентной сестры и бросил его в воду. — Ну, а что говорит девушка, обладающая «простым здравым смыслом»? — обратился он к Джефсону.

— Ты бы сам спросил какую-нибудь из числа своих знакомых, — с недовольным видом пробурчал тот, попыхивая своей огромной сигарой.

— Мы условились, что ты спросишь свою мисс Медбери, — заметил Мак-Шонесси.

Джефсон сильно покраснел и насупился.

— Спрашивал. Она тоже за военных, — сердито выпалил он.

— Вот как! — вскричал Мак-Шонесси. — И она тоже... А мотив объяснила?

— Объяснила. Сказала, что в военных есть что-то особенное и что они отлично танцуют.

— Поражен! — патетически воскликнул Мак-Шонесси, вздевая глаза и руки к хмурому небу, видимо, готовившемуся разразиться новыми потоками дождя. — Ну, а что же говорит молодая замужняя дама? — отнесся он ко мне. — Неужели то же самое?

— Увы, да! — уныло подтвердил я.

— А чем мотивировала свое мнение?

— Тем же, — что военные привлекательнее всех других мужчин.

Наступило молчание. Все мы чувствовали себя очень скверно, и, наверное, не я один сожалел о том, что мы затеяли сделать эти глупые запросы. В самом деле, наше гражданское чувство сильно страдало от этого единодушного предпочтения военных со

стороны четырех представительниц различных типов прекрасного пола, все-таки довольно интеллигентных, хотя и в различной степени. Будь они няньками, кухарками, горничными, — от них нельзя было бы и ожидать ничего другого.

— Культ Марса издавна уж поддерживается Венерою в белом чепце и является чуть ли не единственным, сохранившимся в нашем «мирном» веке, — начал я. — Вот хотя бы взять нашу служанку, Аменду. Вот какой казус приключился с ней. Кажется, все вы находите ее вполне степенною и приличною, не так ли?

— О да, конечно! — отозвался Мак-Шонесси. — А что? Разве мы ошибаемся?

— Очень даже, как и мы сами сначала ошибались, — ответил я. — Поэтому можете представить себе наше удивление, когда мы, в одно летнее воскресенье, отпустив Аменду на «полчасика» к жившей по соседству подруге и отправившись немного спустя сами поболтать по улицам, встретили ее украшенною моею собственной панамскою шляпою и бегущей в густой толпе, валом валившей вслед за отрядом кавалерии, выступавшей куда-то с музыкою. В глазах нашей скромницы горело упоение, ноги ее не шли, а плясали по камням мостовой, а свободная рука выбивала такт музыки.

Когда кавалерия и провожавшая ее толпа скрылась с наших изумленных глаз, мы с Этельбертою уставились друг на друга и покачали головами. Говорить мы в первые минуты не могли: от неожиданного зрелища парализовались на время наши языки.

— Неужели это... Аменда? — с трудом проговорила наконец Этельберта, протирая рукою глаза.

— Конечно, она, да еще в моей шляпе! — пробормотал я.

Лишь только мы вернулись домой, жена побежала в кухню взглянуть, там ли Аменда, а я бросился смотреть, цела ли моя панамская шляпа. Ни Аменды ни шляпы не было на месте.

Пробило девять часов, потом десять, а Аменды все не было. В половине одиннадцатого мы сами приготовили себе ужин и, когда он был готов, сели за стол. Пробило одиннадцать. Четверть часа спустя Аменда пришла, повесила мою шляпу на обычное место, потом, не говоря ни слова, принялась, как ни в чем не бывало, собирать со стола.

Спокойная, но строгая, Этельберта обратилась к ней с вопросом:

— Где вы так долго пропадали, Аменда? Ведь вы давеча отпросились только на полчаса?

— Да, мисс, а потом бегала слушать музыку, которая ехала из казарм, — также спокойно ответила Аменда, ничуть не смущаясь.

— И щеголяли в *моей* шляпе? — в свою очередь спросил я.

— Да, сэр, в вашей, — опять без всякого смущения созналась девушка, все время делая свое дело. — Она первая попалась мне под руку, когда я вернулась от подруги покрыть себе чем-нибудь голову. Нельзя же простоволосой бегать по улицам! Хорошо еще, что попалась не барынина праздничная. Уж очень неловко было бы мне в простом платье и в такой богатой шляпе.

Этельберта несколько времени сидела с вытянутым лицом, потом продолжала свой допрос не столько раздосадованным, сколько грустным голосом:

— И вы часто так бегаєте, как мы сегодня случайно увидели собственными глазами?

Я забыл предупредить своих слушателей, что это было в то время, когда Аменда только что поступила к нам и мы еще не успели вполне ее узнать.

— Всегда, мистрис, — чистосердечно каялась девушка, по обыкновению тщательно стирая крошки со стола. — Это мое несчастье.

— Так неужели вы не можете удержаться от этого? — продолжала жена.

— Не могу, миссис. Говорю — это мое несчастье. Ни в чем больше я не виновата, а как увижу солдат, услышу музыку, так и тянет меня бежать за ними. Знаю, что молочник, который за меня сватается, человек тоже хороший, непьющий, серьезный и копит деньжонки на обзаведение собственной торговлишкой — сейчас он ведь только в приказчиках состоит; — все это знаю и понимаю, и, кажется, даже люблю его, а ручаться за себя не могу.

Этельберта вместо выговора, который готовила ей, высказала только свое сострадание.

— Ничего, Аменда, бог даст, исправитесь. Просите только вашего жениха, чтобы он держал вас подальше от соблазна, и со временем все это пройдет.

Мы с женой решили построже присматривать за Амендой, чтобы она как можно реже выходила на улицу. Ради этого мы часто сами ходили в лавки вместо того, чтобы посылать ее. Но в том году по нашей улице то и дело проходили отряды солдат, конных и пеших, и Аменда все время была вне себя от возбуждения. Стоило только издали раздаться мерному топоту ног и звукам музыки, как наша обыкновенно такая ко всему равнодушная и сдержанная служанка теряла голову, делала все невпопад и рвалась на улицу; а так как мы ее не пускали, сколько она ни умоляла и ни уверяла, что ей только «на минутку, пока они не пройдут» и что она даже и с крыльца не сойдет, то она бросалась к окну и прилипала к нему. Обыкновенно солдаты проходили утром, когда мы с женой находились дома и,

следовательно, имели возможность предупредить всякую попытку Аменды на побег. Но однажды мы ее не застали дома перед вечером, вернувшись с небольшой прогулки.

— Опять эта противная девчонка убежала! — взволнованно крикнула мне из кухни жена. — Я думала, она наверху у себя в комнате, побежала туда, но и там пусто... это становится положительно неудобным... Ступай в лагерь и отыщи ее там! — безапелляционным тоном бросила она мне на ходу назад в кухню, где нужно было кое-что приготовить.

Перспектива бродить по огромному солдатскому лагерю вовсе не улыбалась мне. Я пошел за женою в кухню и просил ее представить себе, как я стал бы отыскивать Аменду.

Этельберта была так взбудоражена, что совсем не была в состоянии войти в мое положение, и со слезами раздражения в голосе кричала, что я — бессердечный эгоист, который думает только о себе, и что она сама отправится искать Аменду. Но я возразил, что это будет еще хуже. Этельберта согласилась со мною, но выразила свою досаду тем, что отказалась участвовать в приготовленной ею же закуске, а я, с своей стороны, выразил свою досаду на ее каприз тем, что выбросил всю закуску дворовому псу, который, разумеется, в высшей степени признательно отнесся к такому неожиданному угощению.

После этого Этельберта воспылала особенной нежностью к коту, который, благодаря моему «варварству», лишился своей обычной доли в нашей закуске, между тем как я с ревностью, достойною лучшего применения, углубился в последние политические новости.

Начитавшись досыта, или, по крайней мере, показав вид, что начитался, я вышел в сад и, бродя там под деревьями, услышал чей-то женский голос, где-то вблизи звавший на помощь. Я прислушался. Голос неся из глубины сада и казался мне похожим на голос Аменды. В полном недоумении я бросился в ту сторону, откуда все яснее и яснее раздавались вопли: «Идите сюда, кто там есть! Выручите меня, ради бога!» Кричала, действительно, Аменда. Я добежал до маленькой беседки, в которой наш домовый хозяин недавно устроил темную комнату для проявления фотографических снимков — он был ярый любитель фотографии, — и рванул дверную ручку. Дверь оказалась запертой.

— Аменда, вы, что ли, тут сидите и кричите? — спросил я сквозь замочную скважину.

— Я, я, сэр! — обрадованно ответила она. — Будьте добры, выпустите меня отсюда. Ключ найдете где-нибудь около в траве.

Действительно, почти у моих ног лежал большой ключ, при

помощи которого я отпер дверь беседки и выпустил всю красную, растрепанную и с заплаканными глазами Аменду.

— Да кто же вас тут запер, Аменда? — спросил я.

— Я сама себя заперла, сэр, — виновато улыбаясь, пояснила она. — Когда вы ушли и я осталась одна в доме, по улице следовал в лагерь чуть не целый полк, и если бы я не заперлась здесь, то непременно убежала бы за ними до самого лагеря... Надеюсь, — прибавила она, — я не доставила вам особенных хлопот: ведь закуска для вас была уж приготовлена мною.

Для полной характеристики нашей Аменды я должен сказать, что у нее был еще жених мясник, а ее настоящий жених — молочник находился, так сказать, в резерве вместе с трамвайным кондуктором; на тот счет она, как потом выяснилось, была очень запаслива. Мясник заходил за нею в те воскресные дни, когда мы после обеда отпускали ее на прогулку, поэтому мы его видели, и он производил на нас довольно неприятное впечатление. Поэтому, когда Аменда однажды объявила нам, что отказала этому жениху, мы были очень довольны, тем более, когда она прибавила, что это нисколько не повлияет на качество отпускаемой нам из его лавки провизии.

— Вы хорошо сделали, Аменда, — заметила Этельберта. — Едва ли вы могли бы найти счастье в союзе с этим человеком. Он нам не совсем нравился, но мы не хотели вас огорчать, поэтому и не говорили ничего вам.

Пропустив последнее замечание жены мимо ушей, Аменда сказала:

— Ни одна девушка не будет с ним счастлива, если у нее не окажется такого же здорового желудка, как у страуса.

— При чем же тут желудок? — удивилась Этельберта.

— А как же, миссис? Ведь такому мяснику, который не умеет делать хороших сосисок, непременно нужна жена с страусовым желудком, иначе она у него живо ножки протянет.

— Господи! — вскричала жена, делая большие глаза. — Да неужели вы только из-за того и разошлись с своим женихом, что вам не нравятся сосиски, которые он делает?

— Разумеется из-за этого, миссис.

— Вот странно-то! — проговорила Этельберта. — А может быть, вы его никогда не любили?

— Как не любить — любила, миссис. Разве я согласилась бы взять его в женихи, если бы не любила? Но потом я рассудила, что нехорошо быть замужем за человеком, который каждый день будет пичкать жену никуда не годными сосисками, и она может умереть от них.

— А разве он предупредил вас, что, кроме сосисок, ничем

больше не будет кормить вас? — продолжала жена свой допрос.

— Нет, он ничего мне об этом не говорил, миссис, но я сама сообразила, что это может случиться. Вот моя двоюродная сестра Лиза вышла за разносчика булок, и он все время кормил ее оставшимися непроданными черствыми булками. Через год ее и узнать было нельзя, как она, бедняжка, изменилась от этих булок. Ну-ка и мой мясник начал бы угощать меня изо дня в день одними плохими сосисками — что тогда было бы со мною?

После мясника женихом Аменды сделался трамвайный кондуктор, о котором я уже упомянул. С ним она разошлась еще скорее, чем с мясником. Как-то раз, когда она находилась в его вагоне, он устроил скандал с одним бедным французиком и за это был привлечен к суду. Это обстоятельство заставило Аменду разочароваться в женихе, потому что, как она выразилась, не очень-то приятно иметь мужа, которого то и дело будут сажать в кутузку за невежливое обращение с пассажирами, да к тому же, раз он позволяет себе такое обращение с публикою, то чего же хорошего может ждать от него жена.

Дело в том, что этот французик, недавно попавший в Лондон, плохо еще знал местный язык. Ему нужно было на одну улицу, которая была конечным пунктом той трамвайной линии, по которой он ехал. По обыкновению, кондуктор на всех остановках выкрикивал названия всех следующих станций. Французик улавливал ухом название только нужной ему станции, пропуская остальные и думая, что ему пора выходить, рвался вон из вагона. Но кондуктор схватывал его за шиворот и водворял обратно на место, объявляя, что скажет ему, когда будет его станция. Французик боязливо сжимался, что-то бормотал, чуть не плакал и вообще выглядел таким, точно попал в руки к разбойникам, которые не выпускали его, чтобы ограбить. Он даже совал свирепому кондуктору деньги, умоляя высадить его хоть прямо на мостовую, где попало, но кондуктор оставался непреклонным и советовал ему сидеть смирно до места своего назначения; тогда он, кондуктор, и выпустит его на все стороны. Из ехавшей в это время публики никто не знал по-французски, почему и не было возможности выяснить недоразумение. Но на одной из остановок села дама, владевшая французским языком, и та, разобрав дело, выяснила его французцу. Тот видимо успокоился, поблагодарил даму за любезность, молча доехал до своей улицы, а потом, не сходя с площадки вагона, позвал полицейского и потребовал составления протокола по поводу грубого обращения вагоновожатого с публикою, причем просил записать свидетелями всех ехавших с ним до появления дамы. Протокол был составлен, и ему был дан ход. Дело окончилось для кондуктора

двухнедельною высидкою, а вместе с тем и потерей невесты.

— Такова оказалась наша скромная Аменда, — заключил я свой рассказ.

В одно из следующих наших собраний Браун объявил, что у человека один только порок — себялюбие.

Джефсон в эту минуту раскуривал свою трубку угольком, взятым из камина щипцами. Когда трубка была налажена, он бросил обратно в камин уголек, пустил ему вслед целое облако дыма и потом изрек:

— И этот порок — источник всех добродетелей.

— Садись и говори дело, — заметил ему Мак-Шонесси, сидя поперек дивана и задрав ноги на спинку кресла. — Мы разрабатываем повесть, а не парадоксами потешаемся.

Но Джефсон хладнокровно продолжал свое:

— Себялюбие, — развивал он дальше свою мысль, — не что иное, как синоним воли. Каждый наш поступок, дурной или хороший, вызываем себялюбием. Мы проявляем милосердие для того, чтобы обеспечить себе тепленькое местечко на том свете, заслужить уважение в этом мире и возней с неимущими и страждущими заметнее оттенить собственное благосостояние. Добрый потому добр, а злой — зол, что это доставляет тому и другому удовольствие. Великий человек потому исполняет свое великое дело, что это доставляет ему больше наслаждения, чем если бы он его не исполнял. Человек религиозный потому религиозен, что в этом видит радость, а человек нравственный потому не делает ничего безнравственного, что находит это позорным для себя. Самопожертвование — тоже не что иное, как тонкая разновидность себялюбия; это только предпочтение душевной экзальтации физическому покою. Человек по самому существу своему не может не быть себялюбивым. Себялюбие — основной закон жизни. Все, чем богата вселенная, начиная с самой отдаленной от нас неподвижной звезды и кончая самой крохотной бациллой, борется, в границах своей силы, только для себя, и над всем этим витает Вечное, также действующее исключительно для себя. Вот что я хотел сказать о себялюбии, — добавил оратор.

— Выпей лучше стакан виски с содой и не будь так сложно метафизичен, — лениво проговорил Мак-Шонесси. — У меня от твоих рассуждений голова разболелась.

— Если все наши поступки вытекают из одного себялюбия, — вмешался Браун, — то оно должно разделяться на хорошее и дурное. Себялюбие будет на моих глазах просто себялюбием без всяких прилагательных. Этого ты не можешь оспорить.

— Нет, могу, — возразил Джефсон. — Я видел примеры

себялюбия — в полном значении этого слова, — побуждавшего на благородные поступки. Если хотите, я расскажу вам самый яркий из этих примеров.

— С хорошей моралью? — осведомился Мак-Шонесси.

— Да, — немного поразмыслив, ответил Джефсон, — с вполне практичной моралью, поучительной в особенности для молодых людей.

— Вот такого рода история нам и нужна, — сказал Мак-Шонесси, принимая более приличное сидячее положение. — Слушай в оба, Браун!

Джефсон, до сих пор шагавший взад и вперед по комнате, тоже уселся в кресло, как всегда, верхом и, облокотившись руками на спинку своего сидалища, несколько времени молча курил.

— В этой истории, — наконец медленно заговорил он, — фигурируют три лица: жена, муж этой жены и другой мужчина. В большинстве такого рода драм главным действующим лицом, как известно, является женщина, но в этой драме таким лицом является человек, который не был мужем той женщины.

Я знал эту женщину. Она была из самых красивых, когда-либо виденных мною, но вместе с тем и с самым неприятным выражением в лице и глазах.

Позже я еще несколько раз встретил эту женщину в обществе и узнал ее историю.

Муж ее, занимавший видную должность в одном из наших министерств, был переведен в Египет, где занял еще более высокое положение. Его дом, благодаря не только этому положению, но красоте и светскому такту его жены, сделался центром местного аристократического общества. Дамы быстро возненавидели его жену, но подражали ей во всем внешнем; мужчины говорили о ней с своими женами и друзьями пренебрежительно, но до обалдения подчинялись ее чарам, когда находились с ней лицом к лицу. Она смеялась над ними в глаза, а за глаза всячески передразнивала их.

Однажды в ее доме появился молодой инженер, которому было поручено произвести близ Каира крупное гидравлическое сооружение. Он не был особенно красив, не обладал никакими салонными достоинствами, но отличался большою душевною и физическою силою, которая, как известно, действует так обаятельно на большинство пустых женщин. Несмотря на всю сдержанность этого замкнутого в самом себе человека, она сумела до известной степени покорить его.

Однажды, после прорытия, или, вернее, разрытия засыпанного песками древнего канала и спуска лишней воды в

возобновленный древний бассейн инженер, рано утром отправившись к шлюзу посмотреть, все ли в порядке, увидел в бассейне отчаянно борющимся за свою жизнь своего соперника. И вот инженер, совершенно один, с опасностью собственной жизни и огромным трудом вытащил этого соперника из воды, решившись лучше утонуть вместе с ним, чем оставить его погибнуть.

Если принять во внимание, что он, как мужчина, все-таки любил свою соблазнительницу, а, стало быть, должен был ненавидеть ее супруга, то нельзя не признать, что он совершил великий подвиг самоотверженности, спасая того, кто стоял на пути к его полному счастью, улыбавшемуся ему, если бы он мог получить на любимую женщину законные права.

Когда он спросил своего соперника, как угораздило его попасть чуть не ночью в бассейн, тот давал такие уклончивые ответы, что инженеру пришлось обратиться к тайным разведкам, чтобы узнать правду.

Оказалось, что перед рассветом демоническая красавица уговорила своего мужа пойти с ней к новому каналу: она пожелала во что бы то ни стало полюбоваться этим каналом при первых лучах утреннего солнца. В свое время она вернулась домой одна и как ни в чем не бывало улеглась в постель, объяснив удивленной, проснувшейся только при ее возвращении служанке, что провожала мужа, которому по делам службы понадобилось экстренно куда-то поехать.

Я забыл сказать, что утопавший не хотел давать себя спасти, говоря, что раз он угодил в бассейн, то желает и остаться там.

Несколько дней спустя в доме спасенного был вечер. Присутствовал на нем и инженер. Очутившись со своим возлюбленным наедине в одной из галерей, красавица-хозяйка шепнула ему:

— Это вы рисковали своей жизнью, чтобы спасти его?

— Разумеется, как же иначе? — ответил он.

— Так вот вам! — прошипела она, и своей маленькой, затянутой в белую лайку ручкой нанесла ему звонкую пощечину.

Он схватил ее за руку, прижал к стене и выразительно проговорил:

— А знаешь ли ты, воплощенный демон, почему я это сделал? Меня устрасила возможность сделаться твоим вторым мужем, если утонет первый. Ведь ты, наверное, стала бы настаивать на этом.

— Конечно! — воскликнула она. — Ради этого я и спровадила было его к нильским крокодилам.

— Да? Ну, а у меня на родине есть невеста, которую я люблю

не для одного приятного препровождения времени. Прощайте!

С этими словами инженер круто повернулся к выходу из галереи. Соблазнительница вскрикнула и, лишившись чувств, упала к его ногам. Брезгливо обойдя ее, молодой человек поспешил покинуть дом. Через несколько времени он уехал в Англию.

Мы одобрили эту историю, найдя ее «очень поучительной для молодых людей» в том смысле, что не следует увлекаться женщинами с ангельским лицом, но с дьявольскою душой. Мак-Шонесси пожелал рассказать другую историю, мораль которой сводилась к тому, что не следует увлекаться и разными изобретениями.

— Место действия моей истории, — начал Мак-Шонесси, — в Германии, в Фуртвангене, среди Шварцвальда. Там жил один чужак; звали его Николай Гейбель. Он занимался изготовлением механических игрушек, и своим искусством в этом деле прославился на всю Европу. Он делал кроликов, которые вскакивали из кочна капусты, ставили стоймя свои длинные ушки и укладывали их рядышком на затылок, умывали передними лапками рыльце и мяукали также естественным голосом, что собаки принимали их за кошек и прятались от них под диваны и столы. Делал кукол с маленькими вставленными в них фонографами, благодаря которым они могли говорить, смеяться, плакать и даже петь. И вообще много делал чудес в этом роде.

Он был более обыкновенного механика: в нем сидел художник. Для него избранный им труд был высшим наслаждением, высшею целью жизни. Его мастерская была наполнена всевозможными чудесами техники; но он не хотел продавать своих произведений и делал их из одной любви к искусству. Между прочим у него были: ослик, двигавшийся посредством электричества; птичка, поднимавшаяся на воздух, описывавшая там в продолжение четверти часа круги и опускавшаяся потом на то самое место, с которого поднялась; скелет, плясавший под дудку, на которой сам же наигрывал; две куклы в естественную величину взрослого человека; одна из них играла на скрипке, а другая пила пиво и курила трубку.

О Гейбеле распространился слух, что он может заставить своих механических людей и животных проделывать решительно все, что умеют делать их живые прообразы. Однажды он сделал куклу в виде взрослого мужчины, которая оказалась чересчур уж человекоподобною.

Дело было так. У местного доктора Фоллена был танцевальный вечер по случаю второй годовщины дня рождения его первого ребенка. На этом вечере присутствовал Гейбель с

своей дочерью Ольгой. На другой день к Ольге пришли ее подружки, тоже участвовавшие на вечере, и начали прохаживаться насчет кавалеров, с которыми танцевали.

— Очень мало хороших танцоров, — сказала одна из девушек. — И все они на один лад.

— Да, — подхватила другая. — А как они важничают: приглашают даму с таким видом, точно оказывают ей бог знает какую милость.

— А как они незанимательны в своих разговорах, — заметила третья, самая бойкая из всех. — Только и знают твердить, как попугаи: «Какая вы интересная в этом платье». «Часто ли вы ездите в Вену?» «Какой сегодня был жаркий день». «Любите ли вы Вагнера?»... И больше они ничего не могут придумать. Страшная скука с ними!

— Ну, я за разговорами не гонюсь, — заявила четвертая. — Мне нужен такой кавалер, который умел бы хорошо танцевать, не ронял бы меня на пол, как делают некоторые, и не уставал бы раньше меня.

— Значит, — сказала Ольга, — тебе нужен автомат, вроде папиных, который будет танцевать хоть всю ночь напролет.

— Великолепная идея! — вскричала четвертая девица, всплеснув руками. — С ним я могла бы танцевать во всякое время, и никто меня за это не осудил бы. А разговоров мне совсем не надо. Мне лучше нравятся молчаливые кавалеры. Во время танцев я не люблю болтать.

Гейбель прислушивался к этой болтовне, происходившей рядом с его мастерской, и тут же с лихорадочной поспешностью стал делать на клочке бумаги какие-то вычисления.

Несколько месяцев спустя в городе был настоящий бал у богатого лесопромышленника Венцеля по случаю помолвки его племянницы. Был приглашен и Гейбель с дочерью. Проводив дочь до дома Венцеля, старик вдруг исчез, оставив ее в большом недоумении. Однако через некоторое время он появился в зале под руку с самим хозяином, чему-то громко смеявшимся, и в сопровождении молодого офицера, которого никто из присутствующих раньше ни разу не видал в городе. Разумеется, все, в особенности дамы, были в высшей степени заинтересованы новоприбывшим, которого Гейбель представил под именем лейтенанта Фрица, сына своего умершего на чужбине друга детства, генерала такого-то.

— Ну, мой дорогой мальчик, — обратился он к лейтенанту, кладя ему руку на плечо, — не будь таким застенчивым и раскланяйся с дамами.

Лейтенант звякнул шпорами и наклонил свою гладко

причесанную голову, причем издал какой-то странный звук, напоминавший хрипение старых часов. Но на это никто не обратил внимания: не до того было.

Гейбель по очереди подводил своего «молодого друга» ко всем дамам. Молодой офицер как-то странно приседал на ходу и волочил ноги.

— Плохой ходок, но отличный танцор, могу вас уверить, милостивые государыни, — говорил Гейбель. — Это уж такое странное свойство у него; он не может ходить по-человечески, зато отлично вальсирует... Что ж ты молчишь, дружок? Скажи что-нибудь.

Он ткнул своего спутника в грудь, и тот, разинув рот, пискливым голосом, но довольно ясно, произносил: «Позвольте пригласить вас на вальс». После чего рот его с легким треском закрывался.

Дамы невольно содрогались, когда поближе приглядывались к слишком гладкому и белому с розовым налетом лицу и стеклянным глазам кавалера, и отказывались с ним танцевать.

Наконец старик подвел свою куклу (я думаю, вы уже угадали, что это была кукла, и что Венцель был в заговоре с Гейбелем) к любительнице молчаливых кавалеров и сказал ей:

— Надеюсь, хоть вы-то не откажетесь повальсировать с этим танцором моего изобретения. Я сделал его именно таким, каким вы желали иметь кавалера. Он не надоест вам разговорами, крепко будет держать вас за талию и провальсирует с вами хоть до утра.

— Ах, это очень интересно! — весело вскричала девушка — С удовольствием воспользуюсь возможностью иметь такого идеального кавалера.

Гейбель придал этому «кавалеру» нужное положение. Правая рука его обхватила талию дамы и крепко держала ее, а левая взяла даму за ее правую руку. Потом механик показал девушке, как увеличивать и замедлять скорость движений автомата, как совсем его остановить и высвободить себя самое из его объятий.

— Он все время будет кружить вас, — добавил старик к своему объяснению. — Смотрите только, чтобы кто-нибудь не наскочил на вас, или сами не наткнетесь на что-нибудь. А главное — не забудьте моих указаний относительно того, где и когда нужно нажать известную пружину.

Узнав, что это один из фокусов изобретателя, собравшееся общество с большим интересом следило за небывалой парой танцоров. Едва ли, пока стоит мир, кто-нибудь танцевал с автоматом. Это было нечто новое, вносящее интересное разнообразие в жизнь маленького глухого городка.

Автомат действовал великолепно. Сохраняя такт, он с примерно ловкостью носил свою даму вокруг залы и даже произносил некоторые фразы, которые были заимствованы из последнего отечественного великосветского романа, взятого Ольгой из местной читальни. Юная танцовка была в полном восторге от своего оригинального кавалера и весело крикнула механику:

— Господин Гейбель, не знаю, как и благодарить вас за это удовольствие! Я готова вальсировать с этим милым кавалером хоть всю жизнь!

Вскоре вся молодежь понеслась вслед за этой парой и закружилась в вихре задорного вальса. Венцель повел радостно возбужденного своим успехом Гейбеля в буфет и угостил его там бутылкою лучшего вина собственной разливки. Случилось так, что беседа этих двух почтенных людей приняла деловой характер. Венцель сказал, что желал бы сделать в своей конторе одно механическое приспособление, Гейбель с свойственно ему в этом отношении жадностью подхватил эту мысль, развил ее и попросил хозяина сейчас же свести его в контору, чтобы он мог сделать предварительные измерения. Контора была тут же, на другом конце двора, и старички отправились туда.

Между тем ярая танцовка прибавила своему «кавалеру» ходу, и он стал кружиться все скорее и скорее. Пара за парой, совершенно выбившись из сил, отставала и прекращала танец, а «лейтенант» и его дама продолжали вертеться, как бешеные. Наконец даже музыканты должны были сложить свои инструменты. Молодежь, спокойно усевшаяся отдохнуть, пила прохладительное, смеялась, рукоплескала и состязалась в шутливых замечаниях. Пожилые люди, однако, взглянули на дело иначе, и на их лица легла тень тревоги.

— Не лучше ли вам тоже присесть и отдохнуть, моя дорогая, — посоветовала неугомонной танцовке одна из хороших знакомых ее матери. — Ведь так можно и заболеть.

Но танцовка ничего не ответила и продолжала вихрем носиться с своим «кавалером» по зале.

— Боже мой, ей, кажется, дурно! — закричала другая дама, мимо которой пронеслась лихая пара.

Один из мужчин вскочил, подбежал к этой паре и пытался остановить ее, но автомат сбил его с ног и помчался далее.

— Ну, теперь вспомнил! — вдруг перебил Браун рассказчика. — Я читал эту историю несколько лет тому назад в каком-то журнале. История кончается тем, что пришлось отыскать самого механика, исчезнувшего вместе с хозяином из залы, и просить его остановить неугомонного танцора. Когда это было

наконец сделано, дама оказалась умершею от разрыва сердца в объятиях своего идеального «кавалера», и испуганный насмерть механик объяснил, что в механизме автомата перестала действовать пружина, при нажатии на которую танцорка могла бы остановить его. Среди дам поднялась истерика; бал пришлось тут же прекратить, а несчастный изобретатель спятил с ума. Так ведь?

— Да, и я очень рад, что был избавлен от труда доканчивать свой рассказ, — процедил сквозь зубы рассказчик, видимо недовольный в душе, что ему не дали самому окончить эту историю. — Я уж говорил, что у меня болит голова, и мне совсем не следовало бы сегодня болтать.

С этими словами он распрощался с нами и отправился домой.

Не могу сказать, сколько именно времени было посвящено нами на разработку плана будущей повести, потому что в лежавшем предо мною Дневнике, или, вернее, протоколе наших заседаний не хватает последних страниц. Наверное они были написаны на отдельных листках с тем, чтобы потом приобщить их к тетради; но мы не сделали этого, и листки затерялись.

Достоверно лишь то, что в течение двух месяцев мы совсем не собирались, — должно быть, в то время, когда я и жена, окончательно разочаровавшись в нашей «речной даче», рыскали с утра до ночи по Лондону в поисках новой городской квартиры и, отыскав, наконец, подходящую, переселялись в нее и устраивались в ней.

13 сентября было запротоколено новое заседание, на котором было решено выбрать в герои человека «типа Чарли Босуэла». Это было не только записано, но даже подчеркнуто.

Бедный Чарли! Я теперь не могу себе и представить, что мы в нем тогда находили геройского. Как сейчас вижу его розовое лицо, омоченное струями слез по тому поводу, что беднягу заставили утопить трех белых мышей и одну ручную крыску, которую он, в нарушение школьных правил, потихоньку воспитывал под своею кроватью в дортуаре. Когда ни в чем не повинные существа испустили в ведре свое последнее дыхание, мальчик, весь сотрясаясь от рыданий, бережно зарыл своих любимцев в землю, оросил крохотную могилку новыми ручьями слез и торжественно поклялся, что никогда больше не будет нарушать школьных правил и огорчать своих добрых родителей непослушанием старшим.

Однако недели через три он вновь был уличен в том, что держит у себя под кроватью животных. Это была пара прехорошеньких беленьких кроликов. Их тоже конфисковали и объявили, что передадут в местный зоологический сад, а виновного подвергли установленному на этот случай наказанию. Через два дня нас за обедом угощали жареными кроликами. Чарли плакал и кричал, что это — его кролики, и что он лучше с голоду умрет, чем будет их есть. Он действительно не стал есть и с большим трудом сдерживался, чтобы не выбежать раньше времени из-за стола. После же обеда он задал здоровую трепку тому из товарищей, который выпросил себе порцию, от которой отказался он, Чарли.

С тех пор Чарли ни разу больше не был клятвopеступником; его даже ставили всем остальным ученикам как пример

послушания, усердия к учению и еще целого ряда добродетелей. Он брал в школьной библиотеке одни религиозно-нравственные книжки, подписывался на два миссионерских журнала и посылал сбереженные ими гроши в редакции этих журналов для передачи в «кассу бедных миссионеров».

По выходе из школы он попал в веселую компанию, с которой принялся кутить, потом каялся с торжественным обещанием исправиться, но, поддавшись искушению, снова делал разные глупости, затем опять каялся и клялся, что теперь начнет вести примерную жизнь, однако продолжал прежнюю.

Несчастье его состояло в том, что он слишком рано остался самостоятельным, получив большое наследство после умершего отца, и был бесхарактерен. Находясь постоянно под чьей-нибудь твердой властью, как в школе, он, очень может быть, сделался бы и в жизни таким же примерным гражданином, каким был образцовым школьником. Но такой власти не было, и он впадал из одного легкомысленного увлечения в другое, постоянно каялся, предавался самобичеванию, собирался начать «новую жизнь» и продолжал старую.

Он решился жениться на одной девушке, которая была такая же бесхарактерная, как он, поэтому не могла держать его в руках, и дело года через два кончилось тем, что он в один скверный осенний день застрелился.

По-моему, в нем ничего не было героического, если не считать его последнего поступка; но ведь и этот «эффектный» уход со сцены был обусловлен скорее малодушием, чем мужеством.

Что касается мужества, я могу привести интересный анекдот об одном молодом прусском офицере, рассказанный мне старым немцем, с которым познакомился в клубе.

— Офицер этот, — повествовал немец, — за какой-то подвиг во время австро-прусской войны был награжден Железным крестом. Это самый высший знак отличия в нашей армии. Получившие этот орден обыкновенно очень чванятся им, что, впрочем, и понятно, так как зря он никогда не дается. Этот же офицер, наоборот, совсем не интересовался своим орденом, запер его в стол и надевал только в необходимых случаях, когда это требовалось служебным уставом. Однажды я спросил его о причине такой странности, и он откровенно объяснил мне ее, взяв с меня слово не называть его имени, если я вздумаю рассказать другим эту историю.

Во время похода, будучи еще молодым поручиком, он как-то раз отстал от своего отряда и, не имея возможности догнать его, пристал к другому. Таким образом он совершенно неожиданно,

вместо резерва, очутился во фланге главной действующей армии. Центр армии бился с наступавшим на него врагом, а фланги пока бездействовали.

Потом битва приняла такой оборот, что стали задеваться и фланги. Был отдан приказ прикинуться к земле. Ряды опустились ничком на сухую каменистую почву и лежали неподвижно, ожидая своей участи. Вокруг свистели пули и разрывались снаряды. Шум был адский. Молодого поручика, бывшего в первый еще раз в огне, охватил ужас, усиливавшийся по мере того, как вокруг него, в передних рядах стали взлетать на воздух разорванные в клочья тела. Наконец гранатой сорвало голову одному из его ближайших соседей, и горячая кровь обрызгала его лицо. Он чуть приподнял голову и взглянул на остальных товарищей: мертвенно-бледные, они дрожали от охватившего их ужаса. Это все были такие же молодые люди, как он, и никому из них не хотелось умирать, тем более, что они находились в полном бездействии, не будучи в состоянии принять активного участия в кипевшей вокруг них битве.

Не помня себя от смертельного ужаса, весь этот отряд, по молчаливому уговору, пополз за угол пригорка, где все и укрылись, а потом, полежав немного и видя, что никто не замечает их отсутствия, поднялись на ноги и принялись во весь дух улепетывать, куда глаза глядят, лишь бы быть подальше от места бойни.

Разумеется, все потеряли головы, иначе вспомнили бы, что, если бы им и удалось скрыться где-нибудь в безопасном месте, их стали бы судить за дезертирство с поля битвы, а за это, как известно, полагается расстрел, то есть, в сущности, тот же самый конец, которого они хотели избежать таким позорным для солдата поступком.

Но судьба иногда творит удивительные вещи. По пути беглецы наткнулись на скрытую между холмами неприятельскую батарею, и в них вдруг проснулся геройский дух. Эта горсть людей (их было всего поручик и четверо рядовых) выхватила сабли и с криками «ура» бросилась на батарею. Артиллеристы и защитники батареи (а их было человек двадцать, а может статься, и более), испуганные неожиданным нападением с тыла и, вероятно, полагая, что на них нападает большой отряд, бросились в бегство, оставив свои орудия на произвол судьбы.

Вид бегущих врагов вызвал такую воинственность в поручике, что он увлек своих солдат в погоню за бежавшими неприятелями. Половину ему удалось уложить и несколько человек взять в плен.

Когда, чрез несколько времени, сюда прискакал отряд прусской кавалерии, получивший сведения о скрытой батарее, то

нашел ее в руках поручика и его четырех солдат, а всю местность — усеянную телами австрийцев, уложенных этой горсточкою «храбрецов», и, вдобавок — пять человек, забранных в плен.

На следующий день поручик был призван в главную квартиру.

— Господин поручик, потрудитесь запомнить, что его величество не требует от младших офицеров предпринимать что-нибудь на собственный страх и риск, — строгим голосом сказал ему начальник штаба. — Запомните также, что нападать на целую батарею с четырьмя людьми — не долг службы, а — безумие. Объявляю вам, что вы за такое самовольство подлежите полковому суду.

Генерал немного помолчал, с восхищением и состраданием глядя на побледневшее лицо молодого офицера, потом другим тоном прибавил:

— Но, быть может, его величество отнесется к вам снисходительно, ввиду проявленной вами храбрости, к счастью, увенчавшейся успехом. Ждите его милостивого решения.

— Его величество, — заключил свой рассказ поручик, — отнесся ко мне не только милостиво, но даже сверхмилостиво, пожаловав меня кавалером ордена Железного Креста. Но я сознавал и сейчас сознаю, что, в сущности, вовсе не заслужил этого отличия, почему и прячу его, чтобы оно не напоминало мне о моей трусости, непростительной для офицера.

Немец, рассказавший мне этот анекдот, сам сильно смахивал на отставного военного, поэтому я не без основания подозреваю, что он-то и был героем анекдота.

Под протоколом от 14 ноября нет подписи Брауна, потому что еще ранее он перестал бывать у меня. Из протокола от 24 декабря видно, что Мак-Шонесси сделал нам пунш по «собственному» рецепту; от этого пунша вся рождественская неделя была для нас испорчена: все трое, не исключая и самого изготовителя, страдали почти непрекращающейся рвотой, и не попади мы в руки опытного врача, нам, пожалуй, не дотянуть бы и до Нового года.

Запись под числом 8 февраля свидетельствует, что из состава нашего литературного товарищества выбыл еще один член — Мак-Шонесси. Джефсон в этот вечер превзошел самого себя в красноречии, когда наша беседа зашла на тему значения литературы вообще. Эта тема не раз уже обсуждалась нами на наших первоначальных «пленарных» заседаниях, но никогда еще Джефсон не говорил с таким воодушевлением и с такою всеисчерпывающею силой, как именно в этот вечер, почему я и считаю нелишним привести его блестящую речь целиком.

— Мне страшно надоело вечное кудахтанье о книгах, — говорил он, — надоели эти длинные столбцы критических заметок о книгах; толстые книги о книгах; крикливые похвалы одним автором и такие же крикливые порицания другим; глупейшее поклонение новеллисту Тому, не менее глупое оплевывание поэта Дика и ядовитое глумление над драматургом Херри. Во всем этом нет ни честности, ни даже смысла. Слушая господ критиков, этих самозванных верховных жрецов культуры, можно подумать, что человек существует для литературы, а не литература — для человека. Мысль работала за несколько уж тысячелетий до изобретения книгопечатания, и те люди, которые написали лучшие книги, не нуждались в услугах критиков. Книги имеют свое место в мире, но не они цель его создания. Книги не самодовлеющи, а представляют собою лишь известные предметы обихода, наряду с бычащиной и бараниной, с запахом моря, с прикосновением руки, с воспоминанием о несбывшейся надежде и всеми другими явлениями того или иного порядка в нашей грустной жизни. Между тем мы говорим о книгах так, точно они представляют собою голос жизни, а не слабое лишь его отражение. Рассказы хороши, когда они действительно только рассказы, — хороши как первые подснежники после долгой зимней спячки природы, как карканье галок и ворон при заходе солнца. Но мы давно уже не пишем настоящих рассказов, а взялись за составление «человеческих документов» и за анатомирование человеческих умов и душ...

Джефсон круто оборвал свою речь и, выпустив несколько огромных клубов дыма, продолжал возбужденным тоном:

— Знаешь, дружище, что напоминают мне те бесчисленные «психологические этюды», которые нынче в таком ходу? Обезьяну, ищущую у другой обезьяны паразитов... В самом деле, что именно показывает нам анатомирующее перо? Человеческую природу, скажешь ты? Нет, оно обнажает перед нами лишь уродливые уклонения этой природы, и больше ничего.

Есть история об одном пожилом бродяге, который, в силу несчастливо сложившихся для него обстоятельств, попал в тюрьму. Там его два раза в день купали с целью смыть с него накопившуюся десятилетиями грязь и кстати узнать его *настоящий* вид. Целую неделю продолжалось это купанье, пока, наконец, не добрались до открытия, что на нем надета такая плотная фланелевая рубашка, но ни вода, ни мыло и никакие другие пособия не могли помочь возившимся с ним людям открыть то, что таилось под этой рубашкой, кроме новых, уже несмываемых слоев грязи.

Этот бродяга символизирует для меня совершенное

человечество. Оно так долго носило на себе нагромождения всяких условностей, что, в конце концов, они так слились с ним в одно целое, что совершенно невозможно различить, где кончаются наслоения привычек и где начинается настоящий человек. Наши добрые свойства объявляются простым манерничаньем, а наши пороки — естественными и неотъемлемыми от человеческой сущности. Вкусы прививаются нам насильственно, а чувства предписываются по заранее составленным рецептам. Насилюя себя мы научаемся курить сигары и трубку и пить виски, заниматься классической музыкой и корпеть над руководствами к изучению наук и искусств.

В молодые годы мы восхищаемся Байроном и пьем шампанское, а лет двадцать спустя увлекаемся Шелли и требуем коньяку. В школе нам говорят, что Шекспир — величайший поэт всех времен и народов, а Венера Медицейская — величайшее произведение скульптуры, и мы всю жизнь надрываемся, крича с чужих слов, что нет поэта выше Шекспира и скульптурного произведения — выше Венеры Медицейской. Если мы родились во Франции, то мы любим своих матерей, а если в Англии — любим собак и добродетель. По умершему близкому родственнику мы носим траур целый год, а по менее близкому — лишь три месяца. По прописной морали мы строим свою внешнюю жизнь и каемся в своих прегрешениях, чтобы затем снова грешить.

В сущности мы не что иное, как костюмированные для известных ролей марионетки. Говорим мы не своим голосом, а голосом того, кто нами управляет, т. е. голосом условности. Все наши чувства, мысли, страсти, радости и страдания вызываются лишь нажимом на имеющиеся в нас пружины.

Человека можно сравнить и с тем огромным свертком, тяжесть которого ближе всего чувствуют наши кормилицы. Этот сверток составлен из нескольких одеял, простынь, вороха батиста и кружев, и можно подумать, что в нем находится нечто крупное, а на самом деле в глубине этого свертка копошится крохотное, сморщенное существо, которое, кроме крика полной беспомощности, ничем не может проявить себя.

— Что же касается собственно нашей пишущей братии, — продолжал оратор после небольшого перерыва, во время которого он закурил новую трубку, то мы сидим за нашими письменными столами, думаем-думаем, пишем-пишем, но из наших дум и из-под нашего пера выходит все одно и то же, с переменою лишь имен да названий мест действия. В незапамятные времена все это люди *рассказывали* друг другу, а мы это пишем, — вот и вся разница. И вся суть этих рассказов

следующая: «Жил-был мужчина, который любил женщину» или наоборот, и больше нет ничего. Критики вопят, что это не ново и требуют другого, «свежего», «оригинального», воображая, что в нашем *старом* мире может быть что-нибудь новое...

Здесь мои записки обрываются. Повесть, которую мы собирались написать вчетвером, так и не была написана.

Это напоминает мне прелестный детский рассказ, читанный мною много лет тому назад. Один маленький мальчик ухитрился взобраться на радугу. Там, за большою темною тучей, он увидел чудесный город с золотыми домами, с улицами, вымощенными серебряными плитами, со сказочно прекрасными дворцами и величественными храмами, где стоило только один раз преклонить колени, чтобы быть очищенными от всяких грехов. Город был залит тем многоцветным сиянием, которым отличается сама радуга. Люди в нем были краше ангелов и, вообще, все в этом городе было воплощением чистейших грез юного поэта. Город этот назывался «городом невыполненных человеческих намерений».